

✓
А.Л.МУРАТОВ

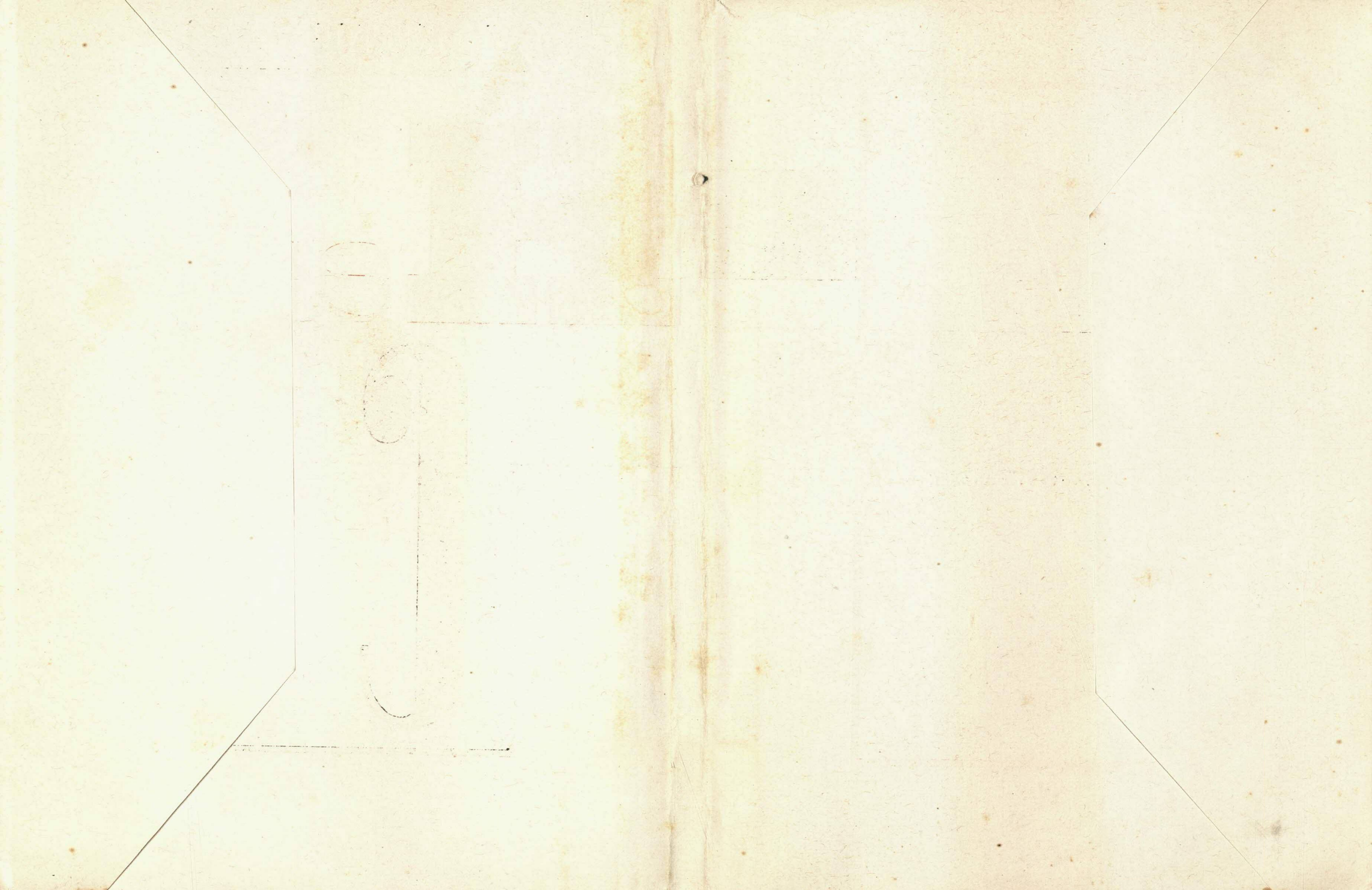
Ваше

цена два рубля, переплет сорок копеек

ОГИЗ 1932

СЕРДЦЕ

0 25373



В Н А Ш Е

С Е Р Д Ц Е

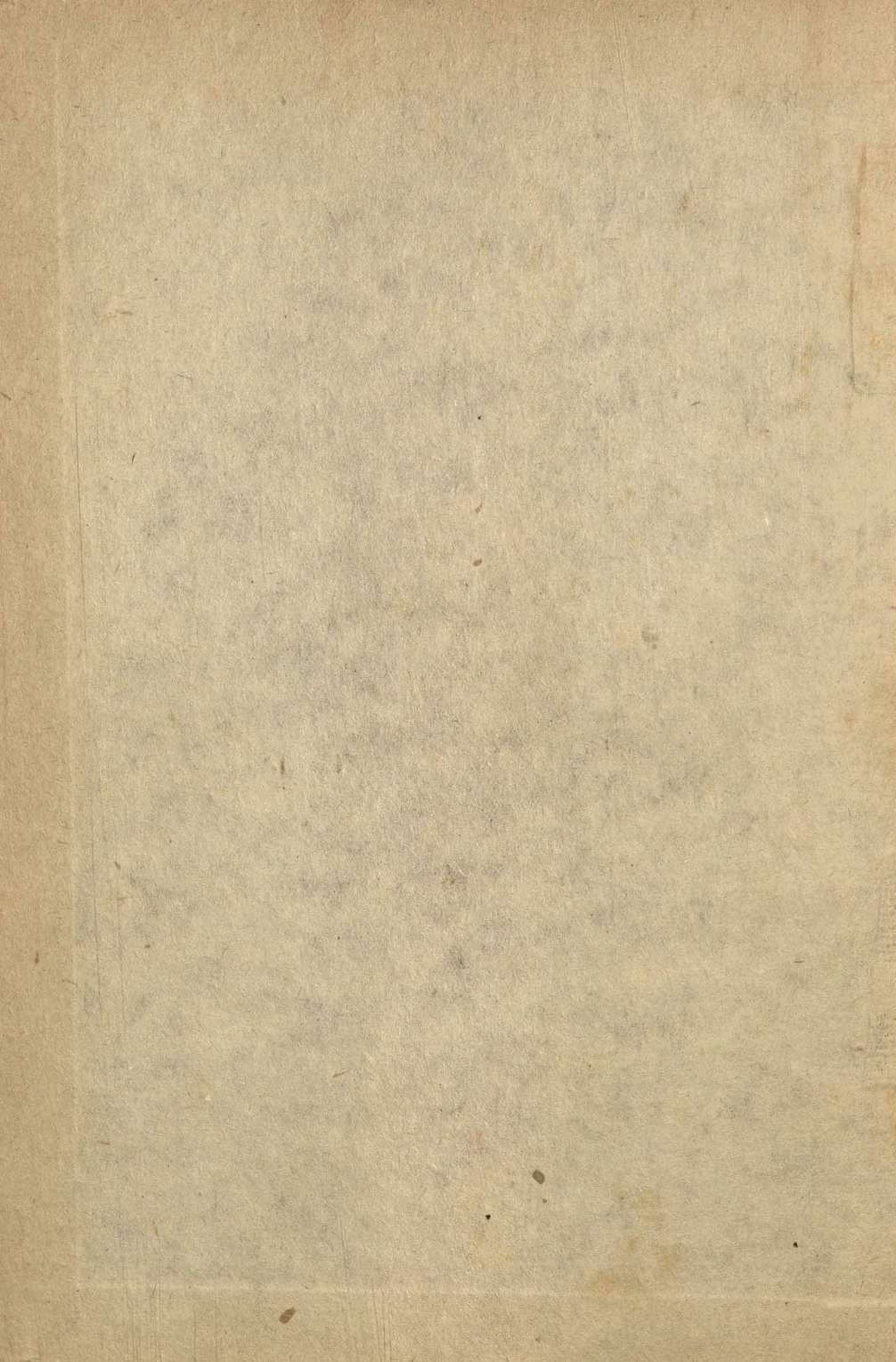
М
У
Р
А
Т
О
В

Л.
А



О Г И З

1 9 3 2









1

П

ролетарские

П

исатели

Н

ижегородского

К

рая

025373

А. Л. МУРАТОВ

1932

С НАШЕ
СЕРДЦЕ

нижегородское
краевое издательство

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ НИЖПОЛИ
ГРАФ, НИЖНИЙ-НОВГОРОД, УЛ. ФИГНЕР,
32, В КОЛИЧЕСТВЕ 3000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
КРАЙЛИТ № 4507. ЗАКАЗ № 5023. • ОГИЗ
НЖ X-2 № 90. ПЕЧАТНЫХ Л. 5^{3/4}. СДАНО
В ПРОИЗВОДСТВО 7 МАЯ 1931 ГОДА, ПОД
ПИСАНО К ПЕЧАТИ 5 ЯНВАРЯ 1932 ГОДА

А В Т О Р
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ МУРАТОВ

РЕДАКТОР
2 ИВ. МАРЧЕНКО

ОБЛОЖКА, ТИТУЛА
И ЗАСТАВКИ
3 А. СУРИНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕДАКТОР
4 В. ПАХОМОВ

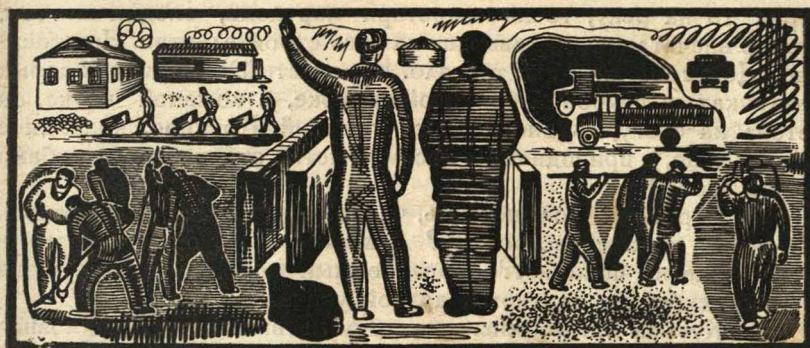
КОРРЕКТОР
5 А. ТИХОМИРОВА

НАБОР ОБЛОЖКИ,
ТИТУЛОВ И ВЕРСТКА
6 А. КОЛЧИН

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ПЕЧАТЬЮ
7 ИКОННИКОВ, ВОИНОВ

ПЕРЕПЛЕТ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
8 В. ШУСТОВА





К реке под'ехала легковая машина. Из кабинки вылезли двое. Они пошли без определенного направления и продолжали начатый в автомобиле разговор. Безбрежный горячился: забежал на два шага вперед, торопливо поправил на себе шапку, прикоснулся к золоту своих очков, прижал руку к сердцу и все убеждал секретаря партийного комитета.

— Кузьма Митрофаных, честное мое слово, тебя неправильно информировали. Вымысел один, клевета. Я тебе заявляю: до вскрытия реки все будет сделано. Щепки на льду не оставлю... Ты пойдем, посмотри, что мы с рекой сделали...

Безбрежный взял секретаря парткома под-руку и повел на кромку высокого берега, за тесовый барак конторы. На реку открылся поразительный вид. Широкая площадь ледяного покрова, загроможденная грудами леса, камня, песка, заставленная двумя десятками временных, тесовых построек, дымилась.

Сквозь дым, окрашенный лучами мартовского солнца, видно было движение сотен людей. Шли взад и вперед, порожнем и с грузом, лошади, запряженные в сани. Бежали грузовые автомобили. Реку штурмовали. Над ней стоял гул: ухали тяжелые молоты, кричали автомобили, жужжали компрессоры, моторы, жалобно выли электрические пилы. Реку запружали. Два ряда досчатого забора, прорезав корку льда, спустив ноги на дно реки, изображали на поверхности открытый, узкий коридор, бегущий поперек реки метров на пятьсот, чуть не до самого противоположного берега. Коридор этот упирался в круглое деревянное здание, похожее на цирк. Над коридором в две линии стояли копры, похожие на виселицы. Они забивали в грунт реки сваи, из которых состоял забор.

Издали картина сооружения водозабора не могла не волновать свежего человека. Она действовала даже на Безбреж-

ного. Он часто мигал, без надобности поправлял очки, смотрел то на реку, то на секретаря парткома, следил за тем, какое впечатление производит на него строительство. Но странно, Денисова ничто не трогало. Коренастый, в больших серых валенках, в грубой бобриковой тужурке, в кожаной кепке, он стоял на снегу, словно глубоко увязший. Крупное, крапленое оспой лицо, с приподнятым носом, с четко очерченными губами было спокойно.

— Черствый, должно быть, человек, — подумал Безбрежный. А может, плохое настроение? А может быть, он ни черта в постройке не понимает? — Безбрежный положил одну руку на плечо секретаря парткома, другой указал на реку.

— Кузьма Митрофаныч, ты обрати внимание, грандиозная панорама...

— Да, — сухо отвечал Денисов, — картина ничего.

— По моему грандиозная картина, исключительная редкая. Ты обрати внимание, какую широкую реку мы разгородили. Моисей мы, чорт возьми. Представляешь, я сооружал десятки водопроводов, но такой строю первый раз.

Начальник сооружения водозабора начал рассказывать о том, что творилось на реке. Говорил он с воодушевлением, жестикулировал.

— Обрати внимание, мы заставили течь воду узким проходом, видишь — у того берега, за круглым зданием. Это самое здание называется оголовок. Там самое глубокое место. Там на дне реки роют колодезь.

Безбрежный взял Денисова за рукав и отвел немного в сторону. Показал ему перемычки, ограждающие забор от воды справа и слева. Перемычки были засыпаны песком и тянулись двумя дорожками параллельно с забором, по ту и другую его стороны.

— Туда мы ссыпали тысячи тонн песку. Песок вытеснил оттуда воду... Посмотри на галлерею... да, вот на этот самый коридор, он называется галлереей. Сейчас из нее вытаскивают лед. Завтра мы начнем откачивать из галлерей воду. Осушим ее. По дну реки пророем канаву. Положим деревянные трубы. Засыплем их щебнем. Заложим бутом. И ты заметь, Кузьма Митрофаныч, дерево под водой сохранится дольше железа.

Денисов молча кивал головой. Безбрежный воодушевлялся все больше и больше. На гладких щеках его выкатились красные пятна. Наконец он передохнул. Посадил на место с'ехавшее переносье очков, сдвинул на затылок высокую каракулевую шапку и снова пустился говорить.

6 — По трубам потечет вода. К тебе, — на завод, в социалистический город, потечет пятнадцать миллионов ведер в сутки...

Безбрежный показал рукой в ту сторону, откуда их привез автомобиль. Там видны были строящиеся здания завода: огромные сооружения из железных конструкций, длинные бетонные корпуса. Левее, за деревней вырисовываются верхние этажи домов социалистического города.

— Ты обрати внимание, Кузьма Митрофаныч... Кузьма Митрофаныч, ты кажется перестал слушать?

Секретарь парткома не слушал Безбрежного. Спрятав руки за спину, он смотрел вниз, в обратную сторону. Там экскаватор подрывал гору, на которой они стояли. Как слон хоботом, экскаватор поддевал ковшом песок и, с громом поворачиваясь на своем кругу, заносил груз над кузовом подехавшего автомобиля. Пасть ковша раскрывалась, и тонна песку ворохом ложилась в машину. Грузовики один за другим подходили под экскаватор и катились обратно на лед.

— Ты экскаватором любишься, Кузьма Митрофаныч?

— Да, гляжу на экскаватор.

— Прекрасно работает.

— Как сказать...

— Прекрасно... Ну, а каково впечатление у тебя от водозабора вообще? — Безбрежный обвел руками всю площадь постройки.

Кузьма Митрофаныч пожимал плечами, медлил с ответом. Безбрежный внимательно следил за каждым его движением и с нетерпением ожидал приговора.

— Трудно очень сказать... Издали все как будто бы хорошо...

— Ну, я же тебе говорил, Кузьма Митрофаныч: тебя неправильно информировали, нагородили бог знает что, — и прорыв, и...

Они спустились с косогора и пошли по галлерее, к первому работающему копру. Железная девяностопудовая баба, насаженная на цилиндр, закрепленная на верхней части копра, забивала брусчатую сваю. Двое закоперщиков, молодых парней, справлялись с такой тяжестью играючи. Они нажимали на концы рычага, точно качали пустую пожарную машину, и молот под напором воздуха, бегущего по кишке от компрессора, то с шипом взлетал вверх, то ахал, спускаясь вниз. Закоперщики работали механически. Думали и говорили о постороннем. Первый, с красным горбатым носом:

— Эх, Серега, я раз в кинe какую картину видел. Офицер один, понимаешь, в монахи поступил. Спасался. Одна мамзель его соблазнить хотела. Дак он себе палец, понимаешь, топором раз..

— Это, Васька, что за картина, — заговорил второй парень, со светлыми кольцами волос, вьющихся из-под шапки.

Я вот картину видел, так это да. Один вор, благородный такой, в шляпе, три миллиона стибрил. Посадили его в тюрьму. В тюрьме ему такой почет был..

Молот бил. Свай только вздрагивал, но в землю не подавался, — очевидно, попал на каменистое дно. Головка свая стала расщепляться,

— Что вы делаете?—закричал на закоперщиков Безбрежный,

— Свай забиваем — отвечал горбоносый.

— Свай забивайте? Где у вас десятник?

— Вона десятник, — показал курчавый.

— Десятник, десятник, идите сюда!

Подошел десятник — с коричневым лицом, с черной клинообразной бородкой, с черными глазами, Он снял заячью шапку, поклонился.

— Десятник, вы почему портите сваи?

— Что ж делать, Платон Владимирыч, дно сильно каменисто, шпунт нейдет. Извольте посмотреть, без башмаков забиваем.

— Почему без башмаков?

— Кузница не дает.

— Немедленно ступайте в кузницу, скажите: я приказал сию минуту доставить башмаки.

— Железа нет, Платон Владимирыч,—робко возражал десятник.

— Ступайте, вам говорят...

Безбрежный заметил, что впереди два копра подряд бездействуют.

— Стойте, десятник, стойте. Идите сюда. Почему у вас два копра не работают?

— Людей нет.

— Почему?

— Сняли, по вашему приказанию, на лед.

— Пустите копры через час... Никаких отговорок. Ступайте в кузницу... Обрати внимание, Кузьма Митрофаныч, третьего дня все было: и железо, и башмаки, и люди, а сегодня на-тебе, нет. Вот ведь какие у меня работники,— за всякой мелочью смотри сам.

Безбрежный во все глаза смотрел на секретаря парткома и боялся, как бы тот не высказал насчет „мелочей“ свое недовольство. Кузьма Митрофаныч молчал. И, к счастью Безбрежного, лицо секретаря парткома ничего такого особенного, неприятного, не выражало.

— Пойдем, Кузьма Митрофаныч, дальше.

8 Они подвигались на галлерею вперед, к оголовку. В одном месте рабочие вытаскивали лед. Большой железный лоток,

похожий на чашу весов, на веревках спускался в воду. Рабочие баграми затаскивали на него льдину. Включался мотор, и чаша по блоку ползла вверх. Рядом вынимали лед вручную, веревкой. За один конец тянули десять человек и за другой десять. Осколок льда упирался в обрубленный край проруби, срывался с веревки и медведем бултыхался обратно в воду. Рабочие досадовали, ругались, зацепляли льдину снова, она опять ускользала. Труд двадцати рабочих использовался явно непроизводительно.

Чем ближе подходили они к оголовку, тем больше и больше встречались „мелочи“. Тут сгрудились лошади, ожидающие очереди отвезти от галереи лед. В другом месте, на песке нехватало транспорта. Тут и там рабочие ходили группами без дела, искали работы, десятника, материалы и инструменты. Но немного дальше, на колке льда не доставало людей. В стороне, на льду валялись инструменты, лежали строительные материалы. Ощущалась острая нужда в механизмах, но часть моторов, копров, насосов была сломана и бездействовала. И грандиозная картина, видимая издали, вблизи оказалась испорченной черными красками „мелочей“.

Когда черные пятна слишком обнажались, лезли прямо в глаза, тогда Безбрежного захлестывал страх: „Вдруг увидит, вдруг спросит: почему это у вас так, а не так, вдруг начнет распекать, на бюро позовет, вдруг?“.....

Но вот пропасть оказалась позади. Секретарь парткома не спрашивал, не кричал, не грозился. И Платон Владимирович Безбрежный успокаивал себя: „ну, ну, дурак, что же ты волнуешься, ведь ничего же особенного нет“.

Неподалеку от оголовка, где кончалась галерея, шла подсыпка песком правой перемычки со стороны течения. Прибыли сразу два тяжелых пятитонных автомобиля фирмы „Мерседес“. Они пятились на самую кромку льда. Переда кузовов автоматически поднимались и песок начинал сползать в узкую полосу воды, к стене перемычки. Неожиданно раздался сухой треск. Длинная, косая льдина обломилась и задние колеса машин погрузились в воду. Переполох. Крики рабочих:

— Сюда, эй, сюда...

— Спасай...

— Тонем, тонем...

Сбежалось человек пятьдесят рабочих. Захлесли веревками зад одного автомобиля и другого. Ухватились за борта и силой вытащили задние колеса на лед. Кто-то из рабочих громко ругал шоферов.

— Что, дьяволы, доездили! Станете сваливать вместе?

— Обрадовались, думали—на земле?

Безбрежный врезался в середину толпы.

— Товарищи, сейчас на моих глазах и на глазах секретаря партийного комитета товарища Денисова вы совершили героический поступок. Я, товарищи, выражаю вам свою благодарность...

Рабочие смотрели на Безбрежного и на Кузьку Митрофаныча, который стоял поодаль, и сначала молчали. Потом двое, стоявшие позади, переглянулись. Один другого толкнул в бок: «валяй насчет премии, закидывай». Раздался выкрик:

— Даешь промтовары!

Промтовары,—повторил новый голос.

— Промтовары!—закричали хором человек двадцать.

Товарищи, насчет промтоваров дело...

Промтовары...

Товарищи!—поднял руку Безбрежный, вскочив на подножку автомобиля.

На льду открылся митинг. Безбрежный говорил по поводу принципов распределения премий. Его прерывали. Он оправдывался. На него наседали. Денисов решительно подошел к собранию и грубо сказал:

— Ребята, вы что? Вы где, на ударной постройке, на проходном дворе?... Промтовары?—Ударникам промтовары. Кто из вас ударник, отправляйся на работу!

Половина рабочих пошла по своим местам. Другая половина двинулась вслед, бросая косые взгляды на Денисова, ворча и размахивая руками.

— Вот ведь какие люди, Кузьма Митрофаныч.

— Самые обыкновенные люди. Кой чорт тебя дернул выступать с благодарностями?

— Думал использовать момент для поднятия духа.

— То-то ты и поднял.

Безбрежный смутился.

Ты, Кузьма Митрофаныч, умный человек....

Брось ты...

«Рассердился»—подумал Безбрежный. Денисов поднял со льда обрубок дерева и швырнул его в грудь. «Так и есть, рассердился».

— Кузьма Митрофаныч, может быть ты устал?

— Веди на оголовок—сказал секретарь парткома.

Они подошли к круглому, похожему на цирк, тесовому зданию, поднялись по деревянному настилу вверх и открыли дверь. В глаза им бросился яркий электрический свет. Всюду: под крышей, на стропилах, на перекладинах, в углах горели большие лампы. В помещении стоял такой шум, что слышать друг друга было невозможно. Урчали моторы, ложились тяжелые удары деревянных кувалд, громыхали тачки, визжал трос, ползающий по полу, звенели железные лопаты.

Рабочие в высоких резиновых сапогах то появлялись из подполья, красные и потные, то спускались по лестнице туда, обратно. Через отверстие в полу внизу была видна глубокая шахта, вся залитая светом, вся в деревянных перекладинах, по которым двигались люди. Все, кто работал на оголовке, были настолько заняты, что приход начальника постройки и секретаря парткома остался незамеченным.

Безбрежный и Денисов скрылись под полом. Внизу их окружала со всех четырех сторон кирпичная стена свежей кладки. Эту стену в свою очередь окружали три бревенчатых забора, в промежутках заполненные землей. Таким образом, оголовок кругом отгородился от воды. Люди, бывшие в шахте, работали на дне реки. Все дело состояло в том, чтобы углубить дно на два метра, выбрать землю, сделать так, чтобы кирпичная стена по мере выемки грунта опускалась все ниже и ниже. Вырытый колодезь нужно забетонировать, оградить его от засорения песками. Из открытого колодца под воздействием естественного давления вода потечет по подземным деревянным трубам.

Колодезь рыли в трудных условиях, — одолевала вода. Низом со стороны течения она нашла себе ход и била из-под сруба фонтаном в четырех местах. Ее откачивали четыре мотора и два трактора. Шесть рукавов, опущенных, сверху, по стене колодца, жадно глотали воду. На минуту земля оголялась. Насосы останавливались, все стихало. Тогда человек пять-шесть землекопов бросались на дно и начинали работать лопатами. Выбрасывали по две, по три лопаты. Яма вновь наполнялась водой, рабочие вылезали на перекладыны, насосы пускались снова.

Так борьба с водой продолжалась непрерывно четверо суток.

— Обрати внимание, Кузьма Митрофаныч, третьего дня я отдал приказ: во что бы то ни стало остановить воду. Говорил с американским инженером... да вон он здесь сам...

На противоположной стороне оголовка стоял американский инженер Брайтер, длинный, сухой, с вытянутым бритым лицом, в шляпе, в долгополом клетчатом пальто. Он разговаривал с переводчиком и играл перчаткой. Безбрежный поклонился американцу, тот кивком головы пригласил его к себе.

— Зовет. Пойдем, Кузьма Митрофаныч.

Здоровый краснощекий детина-переводчик передал Безбрежному следующее:

— Мистер Брайтер очень недоволен. Его предложения игнорируются. Мистер Брайтер требовал двести штук мешков. Ему ответили: мешков нет. Он удивляется, — как это в России и вдруг нет мешков? В Америке, сказал мистер Брайтер,

стоит только позвонить по телефону какой-нибудь фирме, как через двадцать минут будет тысяча, десять тысяч мешков. Мистер Брайтер вам заявляет:—Воду я остановлю, выполните мои советы: за этой кирпичной стеной выберите из промежутка землю до самого дна. Набейте песком мешки и положите их плотно, в два ряда. То же самое положите мешки по стене в самом колодце. Мистер Брайтер требует сделать это немедленно.

Переводчик говорил официально, тоном рапорта, точно заранее все выучил наизусть. Безбрежный отвечал ему так же.

— Передайте мистеру Брайтеру, что я сию минуту прикажу прорабу насчет доставки мешков... Кузьма Митрофаных, я иду к прорабу, ты не пойдешь?

— Кто здесь прораб?

— Сурьянинов Алексей Иванович, техник, член партии, прекрасный человек.

— Пойду.

Они выбрались из шахты наверх, где продолжался шум и грохот. Направились в угол, в дверь с надписью: „контора прораба“. Собственно конторы никакой не было. Небольшая комната скорее напоминала склад. На полу лежали ломы, лопаты, черенки, брезентовые рукавицы, на полках—электрический шнур, лампы, веревки. У маленького окна, за грубым столом, утвержденным на козелках, сидел производитель работ, в черном овчинном полушубке, без шапки. Локти его лежали на столе, пальцы воткнулись в волосы. Трудно было решить, что он: глубоко задумался или сильно устал? Когда дверь растворилась, он медленно поднял голову и показал утомленное, небритое лицо, с углублениями на щеках, похожими на воронки. Большие голубые глаза лениво мигали.

— Платон Владимирыч,—сказал он едва слышно,—это вы?

— Что это с вами, Алексей Иванович, больны?

— Нет... так... Не спал я... Две ночи не спал.

— В чем же дело, Алексей Иванович, ступайте спать.

— Нет, Платон Владимирыч, спать я не хочу... Нет...

Отпустите меня.. освободите.. совсем...

Он снова закрыл лицо руками, точно заплакал. Безбрежный пожал плечами, тронул очки, растерялся, не знал, что сказать. В эту минуту в контору вошел десятник, низкого роста, круглый, как игрушка. Резиновые сапоги были ему до пахов, ватная фуфайка едва сходилась на животе. Лицо румяное, гладко обросшее рыжеватой, с проседью бородой. Маленькие серые глаза заплыли и весело щурились. Десятник прикоснулся к шапке, поклонился Безбрежному и подошел к столу.

— Алексей Иванович, американец спокоею не дает: подавай ему мешки, где хочешь бери, а подавай. Что же будем делать?.. Я пакли раздобыл. Ежели паклю с глиной забивать, а?

— Голубчик, Самсон Поликарпыч, валяйте, забивайте паклю, глину забивайте. Что хотите делайте, Самсон Поликарпыч, что хотите...

Самсон Поликарпыч постоял, почесал голову и медленно вышел.

— Пойду скажу ребятам, пускай роют яму. Паклю стану забивать,—сказал про себя десятник.

Прораб поднялся со скамейки, вытянул руки и прошептал:

— Нищие... нищие мы. Строим... без сапог. На троих одна пара... Мешков нет... Рабочие бегут... Весна... Снег тает. Ледоход скоро... Сметет... Всю постройку сметет.

Сурьянинов снова опустился на скамейку, положил голову на стол и зарыдал. Секретарь парткома весь передернулся. Лицо его, полное презрения, перекосилось. Он плюнул, грубо выругался и сказал:

— Растыка ты, а не член партии.

Безбрежный попробовал исправить создавшееся положение.

— Алексей Иванович, дорогой мой, так же нельзя. При секретаре партийного комитета такие вещи. Ведь это же элементы правого оппортунизма на практике. Успокойтесь, Алексей Иванович, возьмите свои слова обратно... Слышите, Алексей Иванович...

— Брось ты,—закричал на Безбрежного Кузьма Митрофаныхич.—Сними его с работы, немедленно. Оба в 9 часов вечера в партийный комитет.

Денисов повернулся и хлопнул дверью. Начальник сооружения водозабора накинулся на своего подчиненного.

— Чорт бы вас побрал с вашим оппортунизмом, меня подвели... Бросьте хныкать... ступайте домой.

Безбрежный отворил дверь и позвал десятника.

— Самсон Поликарпыч, оставляю вас за прораба. Алексей Иванович больше не прораб.

Безбрежный ушел. Десятник подвинулся к столу.

— Алексей Иванович, чего такое случилось?..

Когда Сурьянинов встал и шатаясь удалился из конторы, Самсон Поликарпыч сел на его место и сказал сам себе:

— Ну, Самсон, все в твоих руках: что хочешь, то и делай.

Время Безбрежного истекло,—он говорил сорок минут вместо тридцати по регламенту. Кузьма Митрофаныхич три раза предупреждал его, чтобы он „свертывался“, и Безбрежный каждый раз останавливался, обрывал мысль своего доклада и поднимал руку.

— Кончаю. Еще один, чрезвычайно серьезный вопрос...

И Безбрежный продолжал говорить насчет состояния постройки водозабора в прошлом и будущем. Члены бюро пар-

тийного комитета сидели вокруг большого, красной материей покрытого стола и вначале слушали доклад внимательно. Но чем больше Платон Владимирович входил в роль и говорил „вообще“, говорил все горячее, увлекательнее, красивее, члены бюро мало-по-малу теряли спокойствие. Речь Безбрежного будто обладала такой силой, которая разлагала дисциплину среди членов бюро. Один развернул газеты и загремел ею, другие развели разговор друг с другом, а двое встали из-за стола, отошли к стене и принялись рассматривать давно знакомые планы постройки завода, диаграммы и фотоснимки. К докладчику было прямое неуважение. Впрочем, Безбрежного не огорчало такое поведение членов бюро, не расхолаживало. Он видел перед собой одного секретаря партийного комитета и обращался только к нему, хотя Кузьма Митрофаныч не доклад слушал, а обдумывал статью в газету и понемногу писал.

За докладом Безбрежного больше всех следил Сурьянинов, Алексей Иванович. Он сидел отдельно от собрания, у порога, на кончике табуретки, как чужой. Выражение нервного лица его все время менялось: налетала задумчивость, насто-роженность, ирония, горькая усмешка. Он то качал головой—не соглашался с тем, что говорил его начальник, то вставал с места, выходил на середину комнаты, к столу и с раскрытым ртом смотрел на Безбрежного, желая видимо что-то возразить ему. Но, так как Платон Владимирович не обращал на него никакого внимания и перескакивал на другой вопрос доклада, Сурьянинов махал рукой и возвращался на табуретку.

— Кончай, Безбрежный, пора.

— Кончаю, Кузьма Митрофаныч... Последний, в высшей степени важный вопрос...

Доклад изрядно выпарил Безбрежного: щеки побагровели, на лбу выступила роса, длинная прядь волос, перекинутаая с виска на висок, намочла, поредела и не могла больше скрыть лысины. Платон Владимирович устал. Он в последний раз поправил очки—стекла и золото сверкнули на электрическом свете и погасли. Безбрежный закончил свой доклад так:

— Да, трудности велики. Да, есть нотки оппортунизма, неверия, малодушия. Но, товарищи, мы большевики. Я говорю: к чорту оппортунизм, к чорту трудности... Товарищи, на постройке завода идет борьба за знамя ВЦИК. Я вам заявляю: знамя ВЦИК будет наше.

Безбрежный поднес к губам стакан и тут же опустил его. В комнате раздался громкий хохот.

— Ха-ха-ха-ха, „знамя ВЦИК будет наше“, ха-ха-ха...

14 Это смеялся Сурьянинов, сидя на табуретке, корчась и взмахивая руками.

— „Знамя ВЦИК будет наше“, ха-ха-ха!..

На него все смотрели с любопытством. Безбрежный вспылал.

— Безобразие! Кузьма Митрофаныч, призовите же его к порядку.

— Да он же прекрасный человек, ты же мне давеча сам говорил.

— Прекрасный человек и плохой член партии.

— Какая чепуха!—не унимался Сурьянинов.—„Знамя ВЦИК будет наше“.

— Довольно,—хлопнул по столу секретарь парткома.—Точка... Вопросы... Нет?... У тебя, Решетников? Давай...

Секретарь комитета комсомола Решетников, краснолицый парень с рыжими стоячими волосами, задал провокационный вопрос:

— Представьте, работу на льду вы закончите первого апреля, а 28 марта вскрыется река. Интересно, что вы станете делать?

— Закончим 20 марта.

— А представьте, целую декаду вы не остановите в оголовке воду? Сегодня 12 марта.

Безбрежный молчал. Перед глазами предстал оголовок. Кругом суматоха, у людей растерянность, жалобы: сапог не хватает, нет мешков. Вода хлещет и хлещет. Ее откачали, она накопилась снова, еще откачали, она бьет опять. Кажется, так может продолжаться без конца. И в голову лезут нехорошие мысли. „В самом деле, если так целая декада, если ледоход... расплох... что тогда делать?... Что тогда делать?... Ну же, Безбрежный, отвечай, ты старый строитель, энтузиаст, член партии... Стой, стой!... Да ведь об этом же был разговор. Кто это говорил: в случае ледохода.. снесем барак... колодец засыплем... оголовок заколотим... заборы подрежем в уровень со льдом... Река вскрыется... ледоход пройдет... вода сбудет... все останется на своем месте.. работа возобновится... Так, правильно. На крайний случай это так... Но кто же это говорил? Э, да не все ли равно, кто говорил“...

— Долго думаешь, Безбрежный, отвечай.

— Я повторяю, Кузьма Митрофаныч: мы закончим 20 марта... Разовьем большевистские темпы... Ну, а в случае... не успеем... застанет ледоход... подрежем заборы...

— Что?—прошептал секретарь партийного комитета, вскочив со стула.—Что ты сказал?..

Безбрежный испугался страшного, гневного вида секретаря и сначала не понял, в чем дело. Но вдруг вспомнил, схватился за голову и оцепенел. „Чорт возьми, чорт возьми, что же я такое сказал? Да ведь это же говорил инженер Горский, арестованный инженер Горский. Ведь Сурьянинов же о нем рассказывал“...

Пол под ногами Безбрежного заколебался. Электрическая лампа закачалась, сделалась величиною с солнце, стала жечь ему все тело. Члены бюро то удалялись вместе со стульями и столом вглубь необыкновенно длинной комнаты, то приближались и лица их были перекошены и исковерканы. Грубые, тяжелые слова секретаря парткома ложились на голову Безбрежного, как удары кувалд.

— Ты хочешь загубить миллионную постройку водозабора?... Ты хочешь оставить завод без воды?... Ты хочешь сорвать пуск завода?... Ты агент...

— Я... я беру... свои слова... обратно.

Заседание партийного комитета было свернуто в несколько минут. Принятое решение по докладу состоялось из 3 пунктов:

1) Начальника постройки водозабора Безбрежного—как лакировщика, оппортуниста справа и «слева», агента классового врага,—из партии исключить и с работы снять.

2) Прораба оголовка, Сурьянинова, как правого оппортуниста, нытика, агента классового врага—из партии исключить и с работы снять.

3) Обязать членов бюро парткома дежурить на оголовке круглые сутки по очереди.

Мобилизовать 50 человек членов партии с постройки завода и перебросить их на водозабор для укрепления партийного влияния среди рабочих.

Когда все вышли из партийного комитета на темный двор, то среди негромкого разговора между собой было сказано несколько фраз во всеуслышание. Безбрежный Сурьянину:

— Ну, «агент классового врага», пойдем ко мне, выпьем с горя.

— Если вы на меня не сердитесь...

— Ерунда.

Кузьма Митрофанович секретарю комитета комсомола:

— Решетников, Гришка, ты спать сегодня не будешь. Идем со мной на оголовок.

— Есть.

На реке было такое множество огней и они настолько ярко горели, что место постройки водозабора походило на глубокую, светлую яму, вырытую в синеве ночи. Дым, смешанный с искрами, стоял над постройкой высоким огненным столбом и был виден издалека. Ночью гром строительства поредел: с передышкой пыхтели и ухали копры, реже гудели автомобили, с перерывами рокотал экскаватор. Вероятно, в третьей смене нехватало рабочих.

На оголовке, под крышей круглого здания было светло и пустынно. Лениво и однозвучно урчали насосы, откачивая

со дна реки воду. Под полом находилась бригада землекопов. Рабочие сидели на стене колодца, свесив ноги, курили, разговаривали, праздно проводили время. Они могли бы копать яму, но не копали—не было резиновых сапог. До прихода ночной смены сапоги загадочно исчезли.

Без дела прошел час, Родионов, старший бригадир землекопов, сидел на последних ступеньках крутой лестницы, которая спускалась сверху, и, почесывая колючий подбородок, смотрел, как фонтанила внизу вода. Рядом, у ног лестницы стоял американский рабочий Милли и курил трубку. Милли наблюдал здесь за работой механизмов. Он приходил на оголовок большей частью днем или вечером. Сегодня пришел ночью. Будучи в нашей стране почти год, он немного научился говорить по-русски. Родионов дотронулся до его плеча.

— Миль, а Миль...

— Э?...

— Что делать-то, а? Сапог-то ведь нет.

— Очень, очень плохо.

— Выдумай чего-нибудь, что ли... Научи, говорю, как быть-то?

— Сапог есть,— вот сапог...

Милли показал на свои ноги обутые в длинные резиновые сапоги. От пропажи сбереглась его пара и пара на ногах десятника.

— Дай лопат.

— А что ты один сделаешь?

— Дай лопат...

Милли взял лопату, слез в воду по икры и стал выбрасывать на доски настила жидкую землю.

— Чудак ты, Милль.

В шахте показался десятник—Самсон Поликарпыч, которого Безбрежный назначил производителем работ. Он посмотрел на скучного Родионова, на Милли, одиноко воющего со стихией, на курящих рабочих. Крохотные, жирные глаза его, красные губы, накрытые усами, подернулись усмешкой, но десятник точно испугался чего-то и сразу сделался серьезным и озабоченным.

— Что, Родионыч, плохо?

— Гляди.

— Вот ведь несчастье какое!

— И как же это у тебя?

— Дивлюсь сам. До-ветру сбежал... Пришел, гляжу—пробой вырван, заглянул за дверь—сапог нет... А что же, Родионыч, ребята у тебя сидят без дела? Глина ведь есть, пакли много. Забывайте глину с паклей. Может, того... полегчает...

— Отстань ты со своей паклей. Зря. Поди ищи сапоги, рыть начнем. Сходи в бараки, что ли, может в бараках у кого?



Десятник помялся, вздохнул, лениво почесал голову.

— Схожу, пожалуй, в бараки. Да где, разве найдешь?

Он закарабкался по лестнице наверх. Там—на полу постоял, подумал и вышел за дверь, на лед. От здания оголовка бежала на пустой берег длинная конусная тень. Самсон Поликарпыч пошел по этой темной полосе с опаской, постоянно оглядываясь. Он добрался до огороженной вежами проруби. Около нее, между грудками льда, кучей лежали десять пар резиновых сапог. Десятник осмотрелся, убедился, что кругом никого нет, поднял одну пару и бросил в прорубь.

— Нате, сволочи, работайте...

Он топил сапоги колом, пару за парой, и вслух приговаривал:

— За мельницу мою... за дом... за другой... за корову... за жеребенка... за добро... получайте... будете у меня с водичкой... работайте... стройте...

Десятник досыта наслаждался мезью, сел на осколок льдины и понохал табаку.

Когда вернулся он на оголовок, то под фонарем, при входе в помещение его настигли Денисов с Решетниковым. Десятник решил, что эти двое шли за ним следом. Они видели его преступление и теперь торопятся взять его. Он остановился на сходах у дверей, опешил, испугался.

— А, десятник!—сказал секретарь парткома,—это вы?...

— Нет, не я это, не я... я прораб...

— Прораб, давно ли?

— Заместо этого самого.. Алексей Иваныча... назначили Платон Владимирыч.

— Так, так. Что вы делаете?

— Я?... Я ничего...

— Я спрашиваю, как дела на оголовке?

— На оголовке?... На оголовке... это самое... на оголовке, товарищ, неважные дела... плохие, можно сказать, дела... несчастье, знаете...

— Что такое?...

— Беда...

— Да говорите, чорт возьми!

— Обокрали... Эти самые... резиновые сапоги...

— Ну?...

— Вы поглядите... я на факте покажу...

Самсон Поликарпыч отворил дверь, подвел обоих секретарей к своей конторе и показал вырванный пробой.

— Вот...

— Все сапоги?

— На мне пара да пара на немце этом... как его... аме-

- Искали?
- Шарил по баракам.
- Ну и что?
- Как в воду... Не в воду, а это самое... нигде нет...
- Оба секретаря переглянулись.
- Рабочие здесь?
- Внизу.

Денисов и Решетников бросились вниз. Землекопы спокойно сидели и лежали на сухой глине. Их убаюкивало заунывное гудение моторов, матовый свет склеивал им глаза. Работал один Родионов. Он сменился сапогами с Милли—ему отдал свои—валеные, а надел резиновые и сам теперь копался в воде, а Милли отдыхал.

Денисов прежде всех заметил бригадира.

- Родионов, эй Родионов!
- Товарищ Денисов?
- Вылезай!

Опираясь на заступ, тяжело шлепая по топкой жиже, Родионов выбрался на край ямы.

- Говори, что такое на оголовке?
- Гибнет оголовок, вот что. Довели...
- Сколько в бригаде коммунистов?
- Я один...
- Я, товарис Тенисф... Страстуй.
- А, Милли, ты здесь? Значит, вас двое да нас двое—четверо. Сколько рабочих?

- Двадцать.
- Говори, во сколько часов выроем колодезь?
- Часов?... В воде, без сапог, во сколько часов? Шутишь ты?

- Я тебя спрашиваю серьезно.
- Без воды и в сапогах в пять часов.
- Вырыть ночью оголовок.
- Ночью?...
- Этой ночью. Завтра будет поздно.
- Товарищ Денисов...
- Вырыть, и никакая гайка... Гришка, задание: расшибись—достань мешки.

- Достану. Откуда?
- Из-под земли...

Секретарь парткома с такой досадой подчеркнул свой ответ, что Решетникову стало стыдно. Он вспыхнул, отвернулся от злого взгляда Денисова, заломил на затылок кепку и до боли вцепился в волосы. Он думал, откуда достать мешки. Прошла минута. Гришка решительно надернул на лоб кепку, вылетел из оголовка и по льду побежал на берег. На берегу,

за конторой стояли жилые бараки—одноэтажные тесовые постройки. Он разыскал барак комсомольской коммуны и постучался. Ему открыли. Он вошел, зажег свет, вытащил из под бака с водой поднос, вскочил на табуретку посреди помещения и начал бить по железу кружкой. Тревога всех подняла с коек. Ребята гаражили сонные глаза на секретаря комсомола, наспех одевались и обувались. Из разных углов летели тревожные вопросы:

— Пожар?

— Чего горит?

— Где горит, Гришка?

— Чего случилось-то? Говори.

Не получив ответа, некоторые ринулись к выходу, но Решетников их остановил.

— Стойте. Куда вы?... Я за мешками к вам. Дайте мешков.

— Каких тебе мешков, зачем?

— Да простых мешков...

Решетникова окружили. Стоя на табуретке под лампой, он рассказал коммунарам суть дела. Они спросонок все еще плохо соображали. Рыжий, высокий комсомолец подошел вплотную к секретарю и поднял на него голову.

— Скажи толком, какие тебе мешки, вещевые что ли? Вещевой есть. Надо?

— Неси вещевой.

Рыжий парень сбегал к своей койке и притащил вещевой мешок. Он поднял его над головой и крикнул:

— Кладу. Вызываю Пашку Григорьева. Пашка, соревнуемся.

Комсомольцы вызывали друг друга, опоражнивали на койках мешки и складывали их к ногам Решетникова. В одном углу пробасил хриплый голос:

— Григорий, у меня мешка нет. Ежели матрац, матрац пойдет?

— Пойдет. При.

Пятеро парней сняли со своих коек тюфяки, вынесли их на улицу, вытряхнули и сложили в груды, вместе с мешками.

— Ну, братва, заваливайся спать, мне больше ничего не надо.

Решетников и еще двое комсомольцев навьючили на себя мешки и матрацы и потащили их на оголовок. Когда явились туда, то внизу, под полом застали что-то вроде митинга. Рабочие стояли на кромке колодца, на деревянных настилах, положенных поперек ямы, и молча слушали секретаря партийного комитета. Денисов с подножки лестницы говорил последние слова:

— Выроем — спасем оголовок. Завод с водой будет. Не выроем,—погубим постройку, завод не пустим... Решайте...

Землекопы не отвечали. Речь Кузьмы Митрофаныча точно не к ним относилась, а к кому-то другому, кого на оголовке не было. Денисов ждал, искал на их лицах решения и напрасно. Никто ни одного слова. Наконец выступил Самсон Поликарпыч.

— Братцы, чего это вы, а? Чай, товарищ вам дело сказал. Порешим. Выроем, братцы, чего там...

— Рой! Лезь поди, рой!—огрызнулся на десятника плечистый землекоп.—„Выроем“. Сам в сапогах...

— На, на, мой сапоги, возьми... на...

— Да,—твердо сказал Кузьма Митрофаныч—сапог у нас нет, мешков нет у нас...

— Есть мешки,—крикнул с верхних ступенек лестницы Решетников. — Несем. На, Денисов, получай!

— Достал! Откуда достал?

— Из-под земли...

— Молодец! Самсон Поликарпыч, заставьте набивать мешки.

— Набьем, набьем. Сейчас, товарищ, набьем. Ребята, живо за работу!

Рабочие наполнили мешки песком и завязали. Теперь предстояло спустить их в колодезь и положить по той стене, из-под которой струилась вода. Милли распорядился пустить все насосы на полный ход. Моторы заработали, заурчали, заглушили человеческие голоса. В продолжение нескольких минут насосы выпили из ямы почти всю воду и снова затихли. Родионов спустился на дно. Он принимал сверху грузные мешки, с трудом волочил их по воде, загоразивал ими места течи. Матрацы оказались ему не под силу. Он ворочался с ними, крихтел, — они с места не двигались. Кто-то должен был спуститься к Родионову на подмогу. Но кто? Резиновые сапоги имел на ногах Самсон Поликарпыч.

— Самсон Поликарпыч, отдайте кому-нибудь свои сапоги. Вы в воду не полезете.

— Ничего, товарищ, полезу. — И десятник действительно полез на помощь бригадиру Родионову.

Секретарь партийного комитета наблюдал за каждым его шагом, ломал голову, и никак не мог определить, что за человек десятник.

— Гришк, иди сюда... Кто он такой?

— Десятник? По моему, сволочь. Определенно враждебный человек. Ты погляди, какая хитрая рожа...

— Чорт его знает... Надо следить. Милли!

Кузьма Митрофаныч кивком головы пригласил американца кверху. Они встали на краю отверстия, через которое видна была вся шахта, все бывшие внизу люди. Милли насторожился. Денисов положил на плечо иностранца руку и в первый раз так близко увидел его полнокровное, точно в бане напаренное лицо, с белесыми бровями, с мягким взглядом голубых глаз.

- Милли!
— Ес...
— Десятника, Самсона Поликарпыча, знаешь? Вон того, видишь, маленького?
— О, десятник Самсон? Снай.
— Он.. как тебе сказать... сволочь... Ты не понимаешь?...
Ну, как же тебе об'яснить...? Классовый враг... Белый...
— О?
— Понял?
— Белый. Понимаю. Фашист. Очень, очень плохо.
— Ты за ним смотри: глаза, понимаешь, на него, глаза...
— Глаза, понимаю.
— Ол райт?
— Ол райт. Ес.

Секретарь парткома скрылся под полом, а Милли остался наверху, сел на тачку, набил трубку и закурил. Ему вспомнился случай из семнадцатого года. Тогда в Нью-Йорке он работал электриком на заводе военных припасов и состоял членом партии социалистов. Партия эта поддерживала войну. Милли с группой товарищей откололся от нее и вошел в союз Красных. Красные работали нелегально, в подпольи. Выпускали против войны воззвания, прокламации, листовки. В среде их появилась подозрительная личность Бариссон — долговязый человек, с горбатым, как руль, носом. Милли поручили следить за ним. Однажды в типографии печатали обращение, призывающее рабочих военных заводов к стачке. Милли заметил, как Бариссон воровским способом опустил в карман несколько отпечатанных экземпляров и незаметно вышел из подвала. Милли последовал за ним по пятам. Стояла глубокая ночь. Улицы были безлюдны. Бариссон прошел два квартала и завернул на улицу, на которой находился полицейский участок. Прежде чем шпион успел подойти к под'езду полиции, Милли ударил его резиновым кистенем по голове. Бариссон свалился. Милли выхватил из кармана его листовки и побежал обратно. Этой же ночью Красные перебрались в другое помещение.

Теперь Милли смотрел на подозрительного десятника и думал: „Что хочет сделать этот человек?“ С такой думой он сошел по лестнице вниз.

Мешки укладывать кончили. Щели и пробоины были заплатаны так, что прибыв воды остановилась. Насосы откачали ее остатки. Самсон Поликарпыч и Родионов очутились на голом дне реки. Десятник выбрался из колодца на перекладки. Бригадир остался, взял лопату, вырыл воронку и согнал в нее из ямок всю влагу. Разогнул спину, рукавом вытер потное лицо и сказал рабочим:

— Ребята, рыть можно.

Землекопы грудой стояли на краю колодца, с недоверием смотрели на липкую глину, освобожденную от воды, и с места не двигались.

— Товарищи, что же вы?—спросил секретарь парткома.

— Ничего,—ответил широкоплечий землекоп.

— Полезайте.

— В лаптях-то, в валенках-то, в ботинках-то?...

И тут пошло.

— Не полезем.

— Здоровье дороже.

— Уйдем.

— К чорту вашу работу.

— Полезай сам, поглядим на тебя.

Секретарь парткома сорвал с себя тужурку, схватил лопату и в валенках прыгнул в яму.

— Ну?...

Землекопы переглянулись, но с места не трогались.

— Гришка, беги за комсомольцами.

Решетников рванулся, но широкоплечий задержал его.

— Стой! Куда полетел? Бери лопату, полезай.

Широкоплечий оглянулся на своих товарищей и со злобой закричал на них:

— Ну, черти вислоухие, чего встали? Полезайте, что ли!

Широкоплечий хапнул лопату, за ним на дно полезли все.

Нолодец рыли всю ночь. По мере выемки грунта, деревянный сруб и утвержденная на нем квадратная кирпичная стена опускались все ниже и ниже. Сруб загромождал теперь места течи — мешки были не нужны, их выбросили на берег. Но ручейки воды из-под стены все бежали и бежали. Вода точно решила остаться врагом до конца. Ее сгоняли в углубления, она копилась, подкрадывалась к землекопам, подмачивала им ноги. На мокрую обувь столько налипало глины, что рабочие с трудом поднимали на лопату ноги, вязли, едва передвигались на другое место. Громкие, сочные поделуи раздавались под ногами землекопов. Люди на дне оголовка работали по пояс голые, от горячих тел поднимался пар.

Самсон Поликарпыч не находил себе покоя — метался из стороны в сторону: заходил в свою контору, садился, барабанил по столу пальцами, вставал, без надобности перебирал лопаты. Выходил из конторы на волю, стоял на льду, думал. Возвращался на оголовок, сходил вниз, приседал на корточки на краю ямы и спрашивал секретаря парткома:

— Товарищ, не надо ли вам чего?

— Нет, ничего не надо,—отвечал Кузьма Митрофанч.

Больше всего десятник стоял наверху, у отверстия и, стиснув зубы, смотрел оттуда на работу землекопов. Он походил на хищника, у которого вырвали добычу и который хочет вернуть потерянное любой ценой.

Когда Самсон Поликарпыч утопил резиновые сапоги, то был уверен, что обрубил землекопам ноги. Мешкам он значения не придавал. Он верил, что и с мешками без сапог не обойтись. И тогда, когда землекопы полезли на дно, он думал: промочат ноги, выскочат и бросят лопаты. Но вот теперь колодец был почти выкопан, и Самсон Поликарпыч увидел, что игра его проиграна, он обманулся. Взгляд его остановился на широкой нагой спине секретаря парткома Горькая обида до того обожгла его, что он скрючил толстые, короткие пальцы рук и задрожал.

Десятник схватил из-под ног ломик и исчез под полом. В яме все были настолько заняты и измучены, что никто не поднял глаз на десятника. Милли возился около мотора и сейчас стоял спиной. Самсон Поликарпыч скрылся за поленницей выволоченных из колодца мешков. Там, в земле, между деревянными щитами, которые обороняли колодец от реки, были нарыты углубления, похожие на гнезда в корзине из-под бутылок. На этом месте—со стороны течения в оголовок пробиралась вода и сюда забивали паклю с глиной. Десятник спрыгнул в первое от колодца гнездо, отгреб от стен землю и между пазами сруба ломиком проковырял в яму щель. Пробил вторую стенку и третью. Перелез в последнее гнездо, щит которого соприкасался с рекой. Когда прошиб он эту последнюю броню, то вода со свистом хлынула десятнику под ноги. Он испугался и не мог вылезть из ямы.

Вода перебегала из ячейки в ячейку, добралась до оголовка и холодная, как лед, брызнула на горячие тела землекопов. Рабочие вскрикнули и отскочили прочь. Расплох был так велик, что все оторопели, не знали, что предпринять, бессмысленно смотрели на струю воды, бьющую с треском, точно из брантспойта. Денисов, словно сбросив со своих плеч какую тяжесть, кинулся к стене и задом зажал щель.

— Милли, Милли, мешки... Сбрасывай мешки...

Милли кошкой прыгнул на груды мешков, схватил в охапку один узел и швырнул его в первое от колодца гнездо. Взял второй, третий, четвертый—забивал мешками всю яму. Поток воды ослабел. Американец продолжал скидывать мешки в другие гнезда. Он занес груз над последней ямой и остановился. Из глубины показалась меховая шапка и бледное, трусливое лицо десятника.

— Товарищ... товарищ...

Милли спокойно отложил в сторону узел, нагнулся, крепко вцепился за подмышку Самсона Поликарпыча, выволок его, на

руках пронес до колодца и, как мешок, сбросил тело на дно оголовка, в топкую жижу. Милли стоял на краю ямы красный, возбужденный и показывал на десятника пальцем:

— О... О... Самсон... Враг... Фашист...

Широкоплечий землекоп взмахнул острием заступа над головой десятника.

— Стой,—закричал на него секретарь партийного комитета— Советская власть существует, ты забыл?.. Гришка, возьми в моей тужурке наган, сведи эту гадину в ГПУ.

Обляпанный в глине десятник выходил наверх.

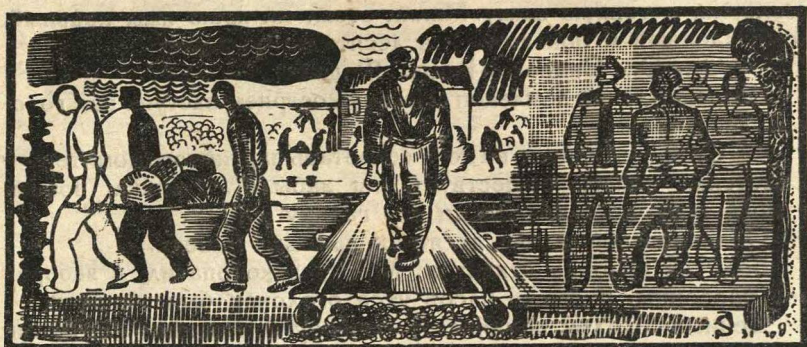
Воду из колодца откачали. Милли законопатил в заборах все пробоины. В шесть часов утра оголовок был выкопан.

Денисов оделся, поднялся в контору и позвонил на бетонный завод.

— Немедленно везите бетон... Куда?... На оголовок... Кто говорит?... Секретарь партийного комитета...

Кузьма Митрофаныч шел по льду на берег. Его шатало, как пьяного.

Вставало большое мартовское солнце, дул теплый весенний ветер. С косогора, на котором вчера стояли Денисов и Безбрежный, текли ручьи. Денисов посмотрел с горы на реку, на круглое здание оголовка, похожее на цирк, и подумал: „Успеем ли?“ И сам себе отвечал: „Успеем, теперь успеем“.



С деревянного помоста эстокады видна вся гавань. Внизу, на левой стороне, от обрывистого берега бежит до самой середины Оки песчаная коса. На косе выложены штабеля кремового бута, груды серого гравия, пирамиды песка. Возле самой воды стоят гравиемойки. По веткам узкоколеек разбросаны пустые вагонетки. Против эстокады, в заливе, на приколе стоят 15 баржей со строительными материалами. Над судами три под'емных крана по-журавлиному вытягивают шеи. Позади эстокады, наверху начинается железнодорожная линия, бегущая на протяжении двух километров к месту строительства автомобильного завода. На рельсах покоятся порожние вагоны и платформы, бездельничают два паровоза.

Начальник гавани Фролов стоит на эстокаде и подсчитывает убытки от простоя баржей, паровозов и вагонов. Суда разгружаются медленно. На обширной территории гавани работает всего несколько артелей сезонников. На ближайшей от берега барже с песком работа останавливается. Между артелью и десятником возникает спор. На эстокаду доносятся отрывки матерщины. Видно, как грузчики бросают лопаты и тачки. Десятник, резко махнув рукой, бежит наверх. Через две минуты он уже на эстокаде. В одной руке у него записная книжка, в другой карандаш. По его обросшему лицу из-под парусиновой фуражки струится пот. Он встает перед начальником возмущенный:

— Чорт знает, что... Бросили работу... Расценки не нравятся...

Начальник с десятником быстро спускаются по песчаному откосу вниз к артели рвачей. Начальник пробует подойти к ним с убеждением:

— Что делаете, товарищи, подумайте? Строительство срываете. У нас порыв...

Десять человек грузчиков, потных, грязных, полуголых, сидят на тачках и на песке. Один, подстриженный под кружок, с обросшим загорелым лицом, позеленевшим крестом на открытой груди, встает, подымает подол рубахи и показывает дыру.

— Видел, где прорыв-то? Расценку вдвое—тогда и прорывы зашьем.

Десятник пытается пригрозить грузчикам:

— Из союза выгонят за такие дела.

Жирный парень с заплывшими глазами лениво подымается с тачки и спокойно отвечает:

— Иди ты со своим союзом...

Артель ушла из гавани. Артели уходили вчера, третьего дня, неделю тому назад. Рабочая сила текла из гавани так же стремительно и непрерывно, как течет в Оке вода. Баржи со строительными материалами прибывали в гавань и стояли неразгруженными. Растущий завод требовал песок, гравий, бут, цемент, тес. Гавань молчала. Всему строительству грозила тормоз.

Партийный комитет Автостроя вынес решение: создать из комсомольцев ударную бригаду и отправить ее в гавань. Бригадиром поставить работника постройкома Григория Переходникова.

Двадцать безусых молодцов, с трудом собранных со всей постройки, двинулись в гавань. Шел дождь. В гавани было мертво. Ни один человек не работал. Ненастная погода — уважительная причина. Ударники стояли на песчаном возвышении и смотрели вниз, на огромное кладбище строительных материалов. Все молчали. Унылая картина гавани вызывала скорбь даже на молодых лицах. Переходников глядел то на гавань, то на свою бригаду. Он был всех ниже ростом, но всех живее и решительнее.

— Ребята, к чорту дождь!

Ударники, ни слова не говоря, спустились за Переходниковым к откосу и сбросили с себя рубахи и штаны, каждый надел на голую спину ярмо. Все принялись выгружать бутовый камень.

Восемь часов плакало над комсомольцами небо.

С берега из-под кустов кто-то смеялся, должно быть, гуляющий по „уважительной“ причине.

— Голые черти, эй, вы, ударники! дожж-от почем с куба носите?...

Ударникам некогда было отвечать на насмешки. Они ломали привычку прогулов в ненастную погоду.

Бригада день за днем разрушала заведенные годами обычаи и порядки среди сезонников. Эти обычаи и порядки из-

вестны: постоять, почесаться, поковырять в носу, уйти за час раньше на обед, за час раньше кончить работу. Половина рабочего времени кралась по привычке у производства. Бригада ударила по привычкам.

Сезонники «единоличники» бросали работу, шли к ларькам, становились в очередь за продовольствием и табаком. Ударники собрали заборные книжки в одно место, отрядили парня, дали ему прозвище «продовольственный комиссар»; он сдавал в ларек книжки, потом через некоторое время приходил за продуктами. «Продовольственным комиссаром» было обнаружено противоречие: книжек у него 20, а продукты отпускаются оптом, без подразделения. На вырезку талонов из каждой книжки тратится полминуты. 20 книжек—10 минут. Если в очереди стоит 30 чел., то каждый на 10 минут задерживается. 10 на 30=300,—пять часов. Бригада украла 5 часов. Безобразия! Бригада выправила одну книжку на всех.

«Единоличники», если они работают на гравиемойке, очень часто прогуливают по «вине» предприятия и за это получают деньги. Ударники расставили свои силы звеньями. Одно звено выгружает бут, другое тес, третье на гравиемойке. На гравиемойке часто ломается транспортер. Работа встает. На время починки транспортера звено перебрасывается на другую работу. Никаких простоев. Никаких прогулов по „вине“ предприятия.

Средняя производительность труда «единоличников» доходила до 1,35 кубометра строительных материалов на человека в день. Непривычные к тяжелому физическому труду ударники, проработав две недели, показали другие цифры. Их производительность поднялась до 1,95 кубометра. В полтора раза больше „единоличников“.

На сером фоне гавани горсточка новых людей осела светлым пятном. Пятно, как луч солнца, многим резало глаза.

Однажды деревенский увалень, сидевший на берегу в тачке, задрав кверху ноги, наблюдал за работой ударников. Он видел на дне баржи с гравием движения полуголых, загорелых тел. Слышал сквозь шум гравиемойки выкрики:

— Давай, давай, давай!!

Его лицо с большим раскрытым ртом, с вздернутым носом не раз выражало попытку чем-нибудь очернить это светлое пятно, как-нибудь наступить на него грязным лаптем. Случай не выпадал. Но стоило ударникам на минуту остановиться, как увалень обрадовался, встал на ноги и закричал:

— Чо-о, чо-о стали, эй, ударники? Эдак ударнике-те? Такее ударники?

Из бригады ему никто не ответил. Тогда он зло взялся за тачку и пошел работать.

Ударники мозолили глаза рвачам. Раз начальник гавани сдавал артели сезонников подряд на очистку баржи от бутового камня. Работа оценивалась в 50 руб. Сезонники просили 100. Ударили было по рукам за 80. Но бригадир Переходников, проходивший мимо, перебил подряд:

— Мы берем за 50...

Когда начальник гавани ушел, глава артели рвачей—дети на саженого роста, приблизился к маленькому Переходникову и погрозился:

— Ну, сукины дети, глядите...

Окончив однажды работу, ударники выходили из гавани. Навстречу им шел „единоличник“ Пилюгин.

— Стойте, ребята!

Бригада встала.

— Вы, ребята, того, к себе примите меня.

Ударники посмотрели на Пилюгина с подозрением.

У всех мелькнула ехидная мысль: дядя хочет заработать. Переходников взял дядю под руку и отвел в сторонку.

— Ты что это, деньгу хочешь зашибить? Зря. Не выйдет у нас. Мы, ты понимаешь, ликвидируем прорыв. Ты подумай денек-другой, потом приходи.

Пилюгин через день явился опять.

— Обдумал я. Решил. Принимайте.

К 20 безусым молодцам прибавился один усатый дядя.

Ударники жили разрозненно: в бараках, по всему строительству, в Канавине, в Нижнем. Это отвлекало внимание от производства. Ударники решили переехать на жительство в гавань. На берегу Оки воздвигнуты были два белых шатра. Ударники начали жить коммуной.

Побороть прорыв горсточкой комсомольцев немислимое дело. Гавань требует 500 чел. рабочих. Крайком комсомола мобилизует людей. В гавань приезжает 350 чел. молодежи.

На местах мобилизованным насулили горы удобств: хорошее общежитие, одежду, обувь, столовую, клуб, учебу автомобильному делу. И вдруг: работа с лопатой, с тачкой, в воде, в грязи, с яром за спиной. Ни одежды, ни обуви. Жить негде. Сон под молодым дубняком и осинником. Хозяйственники не позаботились приготовить для людей самое необходимое. В результате—отчаянная, неугомонная буза. Люди не хотят пойти на работу.

В чаще молодого леса, на голой земле, мобилизованные разложили свои сундуки, корзины, мешки, одеяла. Похоже, что они совершают длинный пеший путь и здесь остановились только на отдых. Люди сидят и стоят группами возле своей поклажи. Лес пестрит разными цветами рубах и платьев.

Лес звенит молодыми голосами. В середине одной большой группы, встав на сундучек, говорит речь широкоплечий парень, подстриженный ежиком.

— К чорту, братва, к чорту от такой жизни!

— Правильно, правильно,—раздается кругом.—Даешь!

Все готовы были ухватиться за свой багаж и двинуться вон из лесу. Но в это время явился Переходников.

— Куда, братва?

— Домой,—сказал широкоплечий парень.

— Домой, домой!—загудело по лесу.

Движение возбужденной толпы могло, казалось, свалить с ног низкорослого, бледного Переходникова. Но он поднял руку, остановил всех и спокойно, полушутя начал говорить,

— Домой собрались? Домой, чай, успеете? Поезд от Автостроя часа через два пойдет. Вы пока сядьте, подождите, к вам тут сейчас придут. Ну-ка, ты,—обратился Переходников к широкоплечему,—пойдем со мной!

Переходников забрал с собой двух других вожаков «бунта» и повел к себе в палатку. В палатке встретил их отсек комсомольской ячейки Абрамов.

— На, Семка, привел,—сказал Переходников.

Абрамов усадил вожаков на койку.

— На фронте были?... Не были?... Про дезертиров слышали?..

Вожак молчал. Абрамов продолжал:

— Автострой—фронт. Ни одного дезертира с фронта. Ни одного беглеца из гавани, чорт возьми! Отправляйтесь агитировать массу. Мы будем драться за палатки.

Через полчаса тот же широкоплечий стоял на том же сундуке и говорил:

— Товарищи, положение наше трудное, но разве комсомольцы от трудностей бегут?..

Переходников с Абрамовым рыскали по всему строительству и выдарапывали палатки, кровати, постельные принадлежности.

Через несколько дней к двум шатрам на берегу Оки прибавилось 24 новых шатра. Через неделю рядом с лагерем была выстроена столовая. В коммуне стало 400 человек.

Люди ради завтрашнего дня сегодня несут испытания и жертвы. У коммунаров нехватает коек, они по очереди спят на одной койке, а многие ложатся на голую землю. В коммуне ни умывальников, ни столов, ни табуреток, ни света. В коммуне нет даже уборной. И коммуна работает в три смены, круглые сутки. Пробка в гавани рассасывается. Паровозы днем и ночью тащат на стройку вагоны цемента, платформы теса, гравия, бута.

¶ Неокрепшей коммуне, не победившей еще прорыва, грозит опасность. Там, за растущим заводом, на стройке социалистического города—прорыв, нехватает рабочей силы. На Волге, на Плесе, за 250 километров от Автостроя, там, откуда везут в гавань гравий—прорыв: нехватает рабочей силы. Партком, начальник строительства, постройком, говорят: коммуна должна поделиться своей силой с соцгородом и Плесом.

Коммуна в сборе. Она обсуждает вопрос о помощи. Переходников спрашивает:

— Поможем соцгороду и Плесу?

— Поможем,—дружно отвечает коммуна.

Но голос предостережения ставит преграду:

— Хорошо, поможем, а как сами? В гавани как?

— В самом деле, кто же станет работать в гавани? Кто? Новые? но где же набрать новых? Кто скажет, где можно набрать новых?

¶ Молчание.

Робкий голос деревенского паренька в лапотках на мгновение вывел собрание из тупика:

— Силу можно набрать.

Это было похоже на вспышку спички в темном помещении. Вспыхнула и погасла. Но паренек в лапотках зажег полный свет.

— Сила есть в нашем селе. Пошлите, я привезу.

Простая и ясная мысль. Коммуна уцепилась за нее, отобрала шесть человек надежных ребят и разослала их в свои деревни вербовать рабочую силу. Все коммунары написали знакомым письма.

И блестящий успех предприятия: в гавань прибыло 350 человек новых коммунаров. Тогда коммуна отделила от себя—один отросток в двести человек на стройку социалистического города, другой отросток в 120 чел. на Плес. 30 парней отправлено на рессорный цех, на сборку металлических конструкций, 11—в деревообделочный на выучку к американским рабочим. Гавань не обессилена. Требование о помощи выполнено.

О сень. Работа в гавани скоро прекратится. Гавань засыпается снегом. Ока оденется в ледяную броню. Ни баржей, ни вагонеток, ни гравиемоек, ни под'емных кранов, ни людей—все замрет в гавани. Что же станет с коммуной? Там единицы квалифицированных рабочих. Значит, коммуна тоже... Нет, коммуна не замрет. Она перейдет на строительство социалистического города и будет работать штукатурками. Коммуна учится на штукатурку.

После работы на производстве каждая смена выходит на учебу. Около лагеря, на лугу, за футбольным полем постав-

лен сплошной деревянный щит. Он разделен досками на множество отдельных квадратов. Против каждого квадрата стоит корыто размешанной глины. Коммунары встают на свои места. В руках деревянные ковши. Учеба идет по методу ЦИТА и требует точности в движениях. Сначала подготовка к зачерпыванию глины, потом захват ее, поднос к щиту, бросок. Всего семь точных движений должен сделать коммунары, пока на щите окажется глиняный ляпок овальной формы с хвостиком, и тогда инструктор скажет: так, правильно, хорошо. Но ведь как трудно без навыка и тренировки рассчитать эти семь движений.

Краснощекий белокурый парень бросает ковш глины. Раздается глухой удар. На щите вместо овальной формы с хвостиком выходит толстый рубец. Инструктор подходит и качает головой.

— Колбаса у вас, колбаса. Шестого движения нехватило. Тренируйтесь.

Инструктор подходит к девушке—курнозой и остроглазой. Та делает бросок. На щите бесформенный, пузырчатый блин.

— Э, пятого движения нет. Соскабливайте.

Инструктор возвращается к белокурому парню.

— Ну, как?

— Да что, колбаса.

Инструктор подходит к щиту сам. Палкой очерчивает место, куда должен лечь бросок, берет ковш в руки, рассчитывает семь движений, и глина точь в точь ложится в очерченные рамки. Парня разбирает задор.

— А ну, черкайте мне гнездо.

Он долго тренируется с пустым ковшом. Потом черпает глину и лепит не хуже инструктора.

— Во, это да,—одобряет инструктор,—это будет штукатур.

Да, из коммунаров выйдут штукатуры. Они уйдут из гавани на стройку социалистического города. Но хорошо: построятся завод, вырастет социалистический город, тогда уже, наверное, наступит конец коммуны? Нет. Во время штукатурных работ коммуна должна учиться автомобильному делу. Она строит завод, она останется и работать на заводе.

Будущее радует коммуны.

Осень. Хододный день. По гавани гуляет свирепый ветер, сыплет мелкий, секущий дождь. Первая смена коммуны на местах. Один отряд выгружает из баржи на берег бутовый камень. На спинах парней и девушек ярмо грузчика с тяжелым кремевым осколком бута. От баржи до места кладки сто метров. Коммунары идут по сырому песку против ветра, против дождя, грудью вперед. Лица напряженные и суровые. Но

вот камень сброшен со спины в грудь, и на обратном пути облик коммунаров изменяется. Раздается гиканье, смех, пение частушек.

Мы работаем коммуной
И живем без сродников.
Бригадир у нас на-ять—
Гришка Переходников.

Другой отряд работает на гравиемойке. Грязный гравий вывозится на тачках с кормы и с нося и сваливается в вороха на середину баржи. Несколько человек бросают камень лопатами на кожаные ленты транспортеров. Бесперывным потоком гравий бежит на берег и сыплется в деревянный резервуар. Через отверстие на дне резервуара гравий течет в большой чугунный ковш. Раздается сигнал. Моторист поворачивает ручку, и наполненный ковш стремительно летит на тридцать метров вверх и там автоматически опрокидывается. По железному жолобу камень с громом ползет вниз, в вращающийся барабан гравиемойки. Из барабана чистый, промытый гравий уже по новому жолобу спускается прямо на железно-дорожную платформу.

Ударники кончили работу. Только теперь они чувствуют, что дождь промочил их до нитки. Они идут в общежитие, под сень белых шатров. В палатках свищет ветер. Надо согреться, высушиться,—печек нет. Надо переодеться, но многим переодеться не во что. В мокрой одежде они забираются под одеяла и так спят.

Нет жилья у коммуны. Позади лагеря строятся теплые деревянные бараки. Коммуна терпит, ждет. Только одиночки теряют дух бодрости. В палатку Переходникова приходит высокий парень в старом длинном пальто. Лицо молодое, но давно небритое, обросшее бородой.

— Гриша, отпусти меня.

Низкорослый Гриша поднимает на высокого парня голову. Темные, вишневые глаза из-под опухших век смотрят в упор. Парень не выдерживает взгляда и отворачивается.

— Ты, говорят, вчера прогулял. Верно? Ты мне скажи, как это ты прогулял?

— Да ведь холодно, зябну я.

— Зябнешь? В таком пальто и зябнешь?

— Да ведь, Гриша, сапоги-то у меня...

Парень поднимает ноги и показывает худые, проволокой подвязанные сапоги.

— Вон ведь они, сапоги то...

Переходников сажает парня рядом с собой и говорит ему о значении строительства автозавода и о наших трудностях.

— Да ведь, Гриша, сапоги-то...

— Ты неправильно ставишь вопрос. За сапоги драться будем. За прогул дадим тебе выговор. Двигай на пост.

Парень вздыхает и уходит в гавань. Переходников бежит в комитет комсомола, в постройком, в партийный комитет за помощью. Там выслушивают тревожные сообщения Переходникова, берутся за телефон и звонят в ячейку гавани начальнику строительства, требуют помощи.

Ночь. Лагерь спит. Лишь в палатке номер четыре светится огонь. Бывший слесарь с канавинского завода „Двигатель Революции“ Григорий Переходников и секретарь комсомольского коллектива Семен Абрамов сидят за столом друг против друга, подперев руками подбородки. Оба молчат. Кругом—койки со спящими коммунарами. Время от времени слышится храп и кашель. Через щели в палатку влетает ветер и качает лампочку. С каждым порывом ветра по брезенту пробегают дробь дождя.

— Семк?...

— А?!

— Слушай: парень сегодня хотел сбежать, понимаешь ты? Вдруг побегут, а?

Семен встал, табуретки, спрятал руки в карманы тужурки, скрыл в стоячем меховом воротнике голову и начал ходить вокруг стола.

— Чорт его знает... Проверить надо коммуну, испытать.

— Как?

— Как?

Оба ушли в думы. Чмокание сапог в грязи у входа в палатку заставило их оглянуться. На пороге стоял коммунар из ночной смены. Он, видимо, прибежал из гавани. Одежда на нем мокрая. Лицо в красных пятнах и каплях дождя.

— Беда! Вода прибывает. На косе затопляет бут. Спасать надо...

Все трое быстро выбежали на улицу, распределили между собой ряды палаток и ринулись туда. Сейчас же в разных местах лагеря послышались громкие восклицания: вставай! Через две минуты во всех палатках горел огонь. Через пять минут в палатку номер четыре собрались бригадиры: Аксенов, Владимиров, Галкин, Карпов, Жулин Степан, Жулин Николай, Каримов, Карелин, Захаров и Тимашков. Переходников дал распоряжение:

— Вывести коммунаров, построить. Идем в гавань, в гавани затопляет бут.

Еще через пять минут колонна коммунаров из 300 чел. тронулась по грязной дороге в гавань. Темнота. Дождь. И песня.

И в битве упоительной
Лавиной устремительной
Мы гордо,
Мы смело в бой идем,
Идем...

Гавань. Ветер колышет фонари. Свет от фонарей и тени от абажуров носятся взад и вперед, точно гигантские качели. Коммунары спускаются по горе на песчаную косу. Идут возле гравиемоек, между штабелей камня, через груды гравия. Идут на кромку косы, к воде. Выложенные кубометры бута одной стороной погрузились уже в Оку. Коммунары в здоровых сапогах заходят в воду. Те, кто в худой обуви и лаптях, берут камни со стороны суши и таскают их, кто на ярме, кто на плече, кто прислонив к груди. Таскают на песчаный бугор, в безопасное место...

Работают молча. Слышен шум дождя. Плещутся бегущие на берег волны. Ноги коммунаров вязнут в рыхлом песке и чмокают. Песок хрустит. При под'емке камней из груды ударников вырываются густые, тяжелые звуки: оп, оп, оп. При сбрасывании раздается глухой треск камня о камень. Медленный ход с грузом, торопливое движение порожнем перемешивает, переплетает, сталкивает людей друг с другом.

— Дорогу, дорогу,—покрикивают коммунары на протяжении всего пути.

Переходники, стоя наверху штабеля с бутом, замечает, как трое отделились от общего движения коммуны и встали в стороне. Спрыгнув на песок, Переходников подходит к ним.

— Вы что?

— Закурить мы хотим, Гриша...—отвечает один за троих, в костюме юнгштурма.

Все показывают дыгарки. Зажигается спичка, озаряются их лица, мокрые, забрызганные грязью, с посиневшими, дрожащими губами.

— К чорту курево, ребята, к чорту,—говорит Переходников.

Курильщики с зажженными дыгарками снова вплетаются в общее движение.

На рассвете, избитые дождем, измученные работой, коммунары возвращались в лагерь. Переходников и Абрамов шли впереди.

— Как ты, Гришка, думаешь про коммуну?—спросил Абрамов.

— Что-ж... Коммуна в основном здорова.

Первое октября. В коммуне двойной праздник—день ударника и день, когда коммунары все перебрались из палаток в теплые деревянные бараки. В самом большом бараке все-

общее оживление. Русские, евреи, чуваша, мордва, татары, марийцы, удмурты—представители всех национальностей Нижегородского края—сидят на койках, за столами, стоят в проходах большими и маленькими группами. Песни на разных языках, треньканье балалаек, звуки гармонии, пляска. В разных углах коммунары рассматривают полученные за ударную, героическую работу премии: одежду, обувь, разного рода хозяйственные принадлежности, книги, радиоприемники.

Праздник достоин коммуны и коммуна достойна праздника. Этот праздник коммуна заканчивает в гавани на ударной выгрузке строительных материалов.

В этот день живее поворачивались подъемные краны, сильнее грохотали гравиемоек, чаще раздавались гудки паровоза, быстрее бежали вагоны и платформы с песком, бутом, гравием к месту растущего, величайшего в Европе социалистического автомобильного завода.



Арматуру многие понимают как принадлежности для проводки электричества. Арматура на строительстве — это железные сцепления, заливаемые бетоном. Коммуна Сорокина укладывала арматуру по крыше деревообделочного цеха автомобильного завода. Железные прутья копиями взвивались над головами коммунаров и ложились по желтому полю теса решетками, снятыми с больших окон. Вязка сцеплений продвигалась быстро. Вместо нормы в 350 килограмм на человека в день, коммунары укладывали арматуру по 700, по 800 килограмм. Задерживалась заливка арматуры бетоном. На бетоне нехватало рабочих.

Когда к концу рабочего дня коммунары, разогнув спины, встали во весь рост, перед ними пестрила и играла клеточками большая решетчатая площадь. Приятно было смотреть на хорошие результаты труда, но на смуглом лице Сорокина выразилось не удовольствие, а беспокойство. Он стоял с железным прутком, похожим на длинную уду, на плече и подозрительно смотрел на работу бетонщиков. Те возили тремя тачками бетон на другом конце решетчатого поля, продвигаясь вперед по-черепаши.

— Питрушка же у них получается, — сказал Сорокин, — и в говоре его чувствовался южный акцент. — Да в год же они, черти, не зальют.

— Братишки, — обратился он к коммунам, сбросив с плеч железный прут, — штурмуем бетон, братишки.

Тридцать человек арматурщиков переглянулись друг с другом, посмотрели на своего вожака и хором отвечали, кто как сумел:

- Штурмуем.
- Возьмем.
- Согласны.

— Валяй к Суйканену, дуи!

Сорокин спустился по деревянному накату с крыши и по грязной дороге, загроможденной разбитым камнем, щепой и всяким строительным мусором, направился к прорабу деревообделочного цеха. Его контора помещалась вблизи цеха, в хибарке, наскоро сколоченной из фанеры, и внутри разгороженной на две половины. Прораб, американский инженер Суйканен, наклонившись над столом, рассматривал график работ. С ног он не отличается от русского рабочего: смазные сапоги и простые брюки взаправку. Но вязаная фуфайка с воротником шалью, кепка с застежками на боках и бритое лицо с выдающимся подбородком — это все подчеркивало в нем иностранца.

Он подал руку Сорокину и по-русски приветствовал его:

— Страстуй.

— Здорово, — попросту отвечал Сорокин.

Суйканен отодвинул в сторону график работ, заткнул под кепку карандаш, пристально посмотрел на Сорокина и, улыбаясь, как бы спрашивал его: „Ну, что ты, зачем пришел?“.

Суйканен не мог выразить этого словами, потому что по-русски он знал всего несколько слов. Сорокин запомнил по-английски одно слово: ол райт. Переводчика в комнате не было. Но Сорокину было некогда. Он попробовал об'ясниться с Суйканеном на русском языке:

— Питрушка получается у нас на бетоне.

— О, бэтон, — воскликнул Суйканен, поймав одно это слово, — бэтон плехо рабоц...

— Плохие рабочие. Да нет же, Суйканен, не то, совсем не то. Нет рабочих на бетоне... Не понимаешь... Я тебе говорю, — возвысил голос Сорокин, — нехватает рабочих. Прорыв на бетоне, понял?

Как ни громко кричал Сорокин, Суйканен все равно ничего не понял. Он пожал плечами, заглянул в другую комнату, поискал переводчика и возвратился на место. Сорокин продолжал:

— Да ты же коммунист, свой же парень, ну как же ты не понимаешь: прорыв? Слушай, я тебе говорю: прорыв...

— Прыф, — как-то по-детски повторил Суйканен.

— Эх, — махнул рукой Сорокин, — не понимаешь ты русского языка.

Он убрал руки в карманы защитной куртки, круто повернулся и отошел к окну. Из окна видно было строящееся здание деревообделочного цеха. Железобетонные опоры стен стояли уже готовыми. Между ними чернели большие провалы окон. За окнами, внутри здания, в чаще бревенчатых подпор виднелись массивные колонны, одетые в тесовую опалубку.

С крыши, по деревянному накату, окончив работу, сходили на землю плотники, бетонщики, арматурщики.

Явился переводчик. Суйканен и Сорокин встретили его с оживлением.

— Ты-ж, друг, выручай, погибаем без тебя...

Низкорослый, коренастый, в тяжелых сапогах, в пальто из шинели, в черной мягкой шляпе, с трубкой в зубах, переводчик тов. Порубаров напоминал собою тип украинца. Он встал в позу судьи между Суйканеном и Сорокиным. Сорокин изложил ему дело с прорывом. Порубаров перевел Суйканену. Тот ответил. Переводчик пересказал ответ по-русски:

— Товарищу Суйканену о прорыве на бетоне известно. Товарищ Суйканен требует бетонщиков, но бетонщиков нет...

— Да я-ж ему толкую то же самое...

— Товарищ Суйканен,—перебил переводчик,—желает знать, чего, собственно, хочет товарищ Сорокин.

— Бригада Сорокина хочет ликвидировать прорыв. Мы готовы встать на бетон сегодня после ужина.

Когда Суйканену перевели это предложение, он несколько растерялся. Видимо, такое заявление было для него неожиданным. Улыбаясь, учащенно мигая выпуклыми глазами, он ближе подошел к Сорокину, положил на его плечо руку и сказал:

— О, Сорокен!

— Ол райт,—с удовольствием ответил Сорокин, выходя из конторы.

Он пошел к себе в коммуну. Она жила тут же, возле цеха, в двух красноармейских палатках. Коммунары пришли уже с работы. Опясав каймой длинный стол, они сели ужинать. Два термоса, привезенные с фабрики-кухни, испускали пар. Космы пара поднимались от тарелок, разносимых по столу, и обволакивали вихрастые головы коммунаров. Сорокин был встречен шумными возгласами:

— О, Витя...

— Витя, садись...

— Бетон как, Витя?

Среди шума отчетливо раздался грубоватый голос Сорокина:

— Вечером, братишки, начинаем, в сборе быть.

— О-о,—понеслось в ответ.

— Есть...

— Даешь...

И тридцать человек по своему выразили свое согласие идти на бетон.

Они все были в возрасте от двадцати до тридцати лет. Товарищу Серухину было, правда, тридцать пять, но и он ничем не отличался от всей молодежи. Да собственно не один

молодой возраст собрал их в коммуны. Их объединила общая квалификация арматурщиков, скрепили строгая дисциплина, любовь к производству, спаяло стремление выделиться вперед из всей массы строителей, сковало желание жить по-новому. В коммуне пока обобществлен труд, питание и снабжение. В условиях палаток большего сделать невозможно. Впрочем, когда пришла осень с дождями и холодами, в стройкоме не раз предлагали коммуне перебраться в барак. Но Сорокин отвечал одно:

— Не можем перейти. Прорыв ликвидируем,—перейдем.

— Да простудитесь, черти полосатые,—говорил председатель стройкома Андрон.

— Нет,—сопротивлялся Сорокин,—простудиться мы никак не можем.

Так коммуна и продолжала жить в палатках. Из двадцати тысяч строителей автозавода вряд ли найдется человек, который не знал бы двух белых палаток при входе в промрайон, который не слышал бы про коммуны Сорокина.

После ужина сорокинцы двинулись штурмовать прорыв. Подойдя к зданию цеха, коммуна разбилась на три группы: одна пошла к бетономешалке, другая к шахте на под'ем, третья на крышу, на разливку бетона.

Грушевидная бетономешалка стояла еще порожней. Но вот через отверстие в ее утробу коммунары вложили дозу цемента, дозу гравия, дозу песка, дозу воды. Один из коммунаров пустил мотор. Бетономешалка дрогнула и завертелась грузным жерновом. Камень, песок, цемент и вода перемешиваясь заскрежетали и загремели о железные стены бетономешалки. Несколько минут такой работы, и замес бетона готов. Трое коммунаров подвезли по рельсам к горлу бетономешалки вагонетку. Наполненная бетоном, она направилась по узкоколейке в клеть деревянной шахты. Мотор потащил трос, и вагонетка поползла на крышу. Там, наверху, бетон распределялся по удобным американским тачкам, похожим своей формой на детские коляски. Коммунары развозили их по проложенным доскам и опораживали на решетчатые квадраты арматуры. Бетон ложился между железными прутьями и застывал.

Заливкой руководил американский рабочий Франц Виртунен. Он стоял на сцеплениях арматуры, тачку за тачкой принимал бетон и разравнивал его железным крюком. Ему становилось жарко. Он расстегнул ворот комбинации и ворот теплой фуфайки, сдвинул на затылок шляпу. На его чистое, полное лицо легли красные пятна.

Коммунары везли и везли тачки с бетоном и кричали:

— Франц, эй, Франц, куда валить-то?

Виртунен указывал крюком место и поспешно говорил по-русски одно слово:

— Так... так.

Сорокин появлялся всюду, где была малейшая задержка в работе. Вставал мотор, он исправлял его. Опаздывала бетономешалка, подсоблял там. На поворотах сходила с рельс вагонетка,—поднимал вагонетку. Работал на подъеме бетона и на заливке. Перед концом работы Сорокин столкнулся на крыше с Суйканеном. Он указал ему на серую, свежее залитую бетоном большую площадь.

— Ну, Суйканен, как работаем, хорошо?

И Суйканен опять похлопал Сорокина по плечу.

— О, Сорокен...

При свете фонарей до одиннадцати часов вечера коммуна штурмовала прорыв и, довольная успехами, возвратилась в палатки.

Сбросив с плеч спецовки, коммунары собрались вместе. При ярком свете лампочки их розовые лица отдавали свежестью и здоровьем. Между ними шел беспорядочный, оживленный разговор о только-что проделанной работе на бетоне. Но вот взвизгнула гармония и заглушила своими звуками человеческие голоса. Сорокин встал на табуретку:

— Ша, братва, ша.

Стало тихо.

— Споем,—призвал Сорокин.

Гармония заиграла, коммунары запели песню:

Коммунаров семья,
Собирайся тесней,
Мы построим завод.—
Будем жить веселей.

Занавеска у входа в палатку распахнулась, и на пороге появились Суйканен и Франц Виртунен. Коммунары оборвали песню и шумно приветствовали гостей:

— Эй, Суйканен, Франц! Садись, Суйканен. Франц, садись.

Коммунары взяли их под руки и посадили на табуретки к столу. Завязалась беседа. Русские просили рассказать про Америку. Но что могут рассказать не знающие русского языка Суйканен и Виртунен? Что может понять без знания английского языка коммуна?

Суйканен рассказывал коммуне про Америку, насколько хватало его знаний в русском языке. Коммунары понимали его не по словам, а больше по жестам и по выражению лица.

— О, Америка! Капиталистиш Америка!—И Суйканен крепко сжимал кулак—Америка много работ... Много работ... Как то, как то? Много работ, нет работ...

Коммуна поняла: много рабочих, а работы нет.

— Советиш Россия рабоц... как то, как то? Хосьяйн,—вспомнил Суйканен,—Америка рабоц...—Суйканен указал на пол.

Так беседа продолжалась с полчаса. На прощанье Суйканен сказал:

— Руссиш рабоц хорос. Руссиш рабоц...—он остановился, ища подходящего слова.

— Цемент,—подсказал Виртунен.

— О,—воскликнул Суйканен,—руссиш рабоц цемент.

Сорокинцы поняли, что речь идет о крепости русских рабочих.

Гости ушли к себе на америкацкий поселок, а коммунары погасили огни в палатках и легли спать.

По брезенту палаток хлопал ветер и шумел дождь.

В первом часу ночи в ту палатку, где спал Сорокин, вошел человек. Не зная ни места выключателя, ни места койки Сорокина, человек остановился при входе и громким шопотом позвал из темноты руководителя коммуны:

— Сорокин, товарищ Сорокин, слышишь, Сорокин?

— Чего?—сонно отозвался Сорокин,—кто тут? Какой чорт спать не дает?

— Это я, Радищев.

— Радищев...

Сорокин вскочил с койки, зажег свет и увидел перед собой помощника начальника промрайона Радищева, в мокрой одежде.. Его худое, утомленное лицо было тревожно.

— Видишь ты, Сорокин, завтра утром прибывают металлические конструкции, а рельсы на районе завалены чорт знает чем. К утру, видишь, путь надо очистить ..

Сорокин понял, в чем дело, и хотел было будить коммунаров, но, вспомнив прошедший день, остановился. В прошедший день коммуна вязала арматуру, штурмовала прорыв на бетоне. Знает ли о бетоне Радищев? Нет, он не знает. Тогда бы он не стал поднимать коммуны. Сказать ему об этом? Нет, не стоит говорить.

— Так, ты говоришь, пути... К утру, говоришь, надо очистить? Обязательно?. Ладно. Очистим. Будь спокоен.

Радищев ушел. Сорокин прислушался к стуку дождя, к крепкому сну коммунаров и во всю мочь гаркнул:

— Вставай!..

Через несколько минут палатки были пусты. Коммуна шла по дорогам промрайона и пела:

Никто пути пройденного

От нас не отберет.

Выстроим досрочно

Наш автозавод...

В день ударника коммуна Сорокина получила самую высокую награду — красное знамя. Коммунары несли его из клуба в палатку ночью. Прожектор, освещающий по ночам территорию строительства, наткнулся на коммунаров и задержался. Знамя горело в лучах прожектора.

Коммунары обсуждали промфинплан на особый квартал. Они дали встречный план, превышающий план хозяйственников на 25 проц. Они дали обещание не отступать от плана ни на шаг. Коммунары не отступят. Поручкой тому их коллективное заявление о принятии всей коммуны в партию. Они написали это заявление, как только приняли встречный промфинплан.



Американец Суйканен стоял на краю крыши деревообделочного цеха, против сходней на землю и что-то записывал себе в книжку. Пока мы взбирались по сходням вверх, секретарь партийного коллектива на промрайоне тов. Куканов рассказал, кто такой Суйканен.

Он — рабочий из Нью-Йорка. В Америке добился технического образования, — имеет звание инженера-архитектора. С 1922 года член американской коммунистической партии. К нам приехал пять месяцев тому назад вместе с группой рабочих-американцев. На постройке автомобильного завода работает прорабом деревообделочного цеха.

Мы поднялись на крышу. Куканов встретил американца, как старого знакомого.

— Здравствуй, товарищ Суйканен.

— О, товарищ Куканф...

Суйканен кончил записывать, убрал в карман теплой фуфайки книжку и заткнул карандаш не за ухо, как делают все, а под кепку, в волосы. Он протянул Куканову руку.

— Здраш...

Большое, чисто выбритое лицо его было открытым, улыбающимся. Выпуклые голубые глаза вопрошающе смотрели на нас. По-русски он говорил очень плохо и сейчас при встрече с нами без переводчика чувствовал себя неловко и смущался.

— Как дела, товарищ Суйканен?.. Дела, спрашиваю, как? — повторил Куканов.

— Тела?... О, тела хорос...

В самом деле, на первый взгляд дела шли не плохо. На крыше, где стоял Суйканен, шла живая, быстрая работа: черно-рабочие таскали по сходням тес, плотники строгали рубанками, стучали топорами, бетонщики везли по доскам тачки с бетоном.

Здесь работали чуваша, татары, русские, американцы. Разговоры и крики слышались на всех четырех языках. Костюмы пестрели разнообразием: мелькали фетровые шляпы американцев, кепки, картузы, татарские чалмообразные шапки. Люди двигались в парусиновых комбинациях, в брезентовых куртках, в черных, с узкой талией поддевах.

Деревообделочный цех строился по-американски, без лесов. В ходе работ применялись новые способы: сначала производилась опалубка — деревянная обшивка формы здания, потом выкладывалась арматура — железные сцепления, дальше начиналась заливка арматуры бетоном, — один вид работы шел вслед за другим.

Но за всем этим Куканов видел что-то неладное. На постройку цеха дано 60 дней. Сорок прошло. Впереди было двадцать, а работы оставалось уйма. Заливка бетоном только начиналась.

Надо было еще гудронить крышу, возводить над ней фонарь, делать лестницы, снимать опалубку. Дело как будто обстояло плохо. Но Суйканен напомнил:

— Тела хороше...

Куканов стоял озадаченный. То ли у Суйканена на постройке прорыв, то ли все обстоит благополучно?

Суйканен проводил нас по сходам вниз. На земле у здания цеха лежала груда разбитого бетонитового камня. Суйканен нагнулся, взял один из камней и с сожалением сказал:

— Пят-дэсят просэнт...

Мы поняли: неосторожное обращение с камнем дало 50% боя.

На дороге валялся обрубок от тесины. По нему ездили, ходили, вмяли его в грязь. Суйканен вытащил его и покачал головой. В голосе его слышалось негодование.

— Ошень плохо русиш рабос...

— Очень плохо русские рабочие относятся к строительным материалам, — хотел сказать Суйканен.

Американец ушел на крышу. Куканов кивнул в его сторону.

— Видал? Вот мужик-то, прямо на все сто.

Утром другого дня Суйканен, вместе с секретарем партийной группы американских рабочих Туамолой и переводчиком Порубаровым, шел на работу. У ворот, при входе на промрайон, они остановились перед двумя фигурами рабочих такого огромного роста, что высокий Туамола казался по сравнению с ними впятеро ниже. Эти фигуры были вырезаны из фанеры и нарисованы, одна слева — в костюме русского рабочего, другая справа — в комбинации американца, с застешками на плечах, как у Туамолы.

Между фигурами, на столбах висели десять деревянных квадратов, изображающих выполнение плана за последнюю

декаду по всем цехам. Строительство соцгорода сидело на раке. Главная контора передвигалась на черепахе. Верхом на корове ехал деревообделочный цех, на кляче сидел прессовый, пешей шагала проходная контора, ремонтнокузнечный цех скакал на рысак, ремонтномеханический двигался полным ходом паровоза, механосборочный мчался на автомобиле, ресорный несся на мотоцикле и всех быстрее, на аэроплане летел кузнечный цех.

Переводчик с увлечением рассказывал американцам о движении передовых цехов, но когда очередь дошла до деревообделочного цеха, на бритом морщинистом лице переводчика Порубарова показалось смущение. Он сдвинул на лоб мягкую черную шляпу и сказал:

— Товарищ Суйканен, обратите внимание, ваш цех посажен на корову...

Часто мигая выпуклыми глазами, Суйканен смотрел на переводчика, на Туамолу, на щит с коровой. Бурая, тощая корова с рогами—один вниз, другой вверх, едва держалась на кривых, длинных ногах. Тот, кто сидел на ней верхом, был не кто иной, как Суйканен. На лице Суйканена выступили красные пятна...

Мимо, по дороге на промрайон, шли группы рабочих, шли десятники, техники, инженеры. Может быть, среди них был прораб с постройки соцгорода, — ведь соцгород восседал на раке, может быть проходил прораб с постройки главной конторы—та передвигалась на черепахе. Что бы зайти этим прорабам да посмотреть, на кого их посадили. Но никто не останавливался перед фигурами рабочих, все смотрели на них на ходу. Американца Суйканена посадили на корову, он протестовал. Не личная обида руководила им, а то, как теперь посмотрят на него русские.

Он подошел к корове, побарабанил пальцами по ее впа- лому животу и обратился к Туамоле. То, что он сказал ему, на русском языке значило: мы не достойны коровы, мы двигаемся быстрее, корова—это ошибка.

Суйканен не медля собрал планы, графики и учетные сведения работ по своему цеху и вместе с Туамолой и переводчиком отправился с жалобой прямо в партийный комитет автозавода. Их принял секретарь парткома, тов. Кузнецов. Переводчик начал рассказывать ему, как несправедливо опорочили деревообделочный цех, как Отдел Экономики Труда не разобрался в американской технике и потому неправильно подсчитал результаты работ.

Суйканен и Туамола стояли по бокам и смотрели в лицо Кузнецова с таким выражением, что как будто сейчас решалась их судьба. Когда переводчик останавливался, Суйканен

подсказывал ему цифры из записной книжки, развертывал график работ и, вытащив из-под кепки карандаш, быстро водил им по бумаге.

— По расчетам товарища Суйканена,— закончил переводчик,— цех будет выстроен в срок. Товарищ Суйканен очень огорчен этой самой... коровой...

— Очень, ошень плохо кароф,— не выдержал Суйканен.

Товарищ Кузнецов стоял за своим столом и внимательно слушал. По его лицу, слегка обросшему рыжеватой щетиной, было заметно, в каком затруднении он находился. Что он должен сказать американцам-коммунистам? Его слово для них значило очень многое. Он сказал:

— Не в том дело, чтобы сидеть на корове, а в том, чтобы с нее слезть...

Суйканен, после того, как ему перевели эту фразу, долго думал над ней. Но что-нибудь возражать против было невозможно.

Прошла декада. Деревообделочный цех пересадили с коровы на лошадь. Когда Суйканен увидел ее, то затруднялся решить,— лучше ли стало от того, что он пересел с коровы на такую лошадь? Пусть она двигалась вперед, но вид ее не внушал Суйканену никакого доверия. С длинной шеей, с костлявыми, провалившимися боками, лошадь очень напоминала клячу Россинанта, на которой путешествовал Дон-Кихот.

Суйканен стоял один перед громадными фигурами рабочих. Строгое лицо и две глубокие складки между бровей говорили за то, как глубоко он переживает свое неудачное положение. Неужели в самом деле он ошибся в расчетах? Может быть, правда, что у него на постройке прорыв? Он вспомнил слова секретаря парткома Кузнецова: „не в том дело, чтобы сидеть на корове“...

— Не в том дело...— повторил Суйканен.

В его большой голове созрело твердое решение: надо закончить постройку цеха раньше срока.

Суйканен попросил Туамолу созвать всех американцев-коммунистов. Коммунисты решили: закончить постройку цеха раньше срока.

Состоялось собрание всех иностранных рабочих деревообделочного цеха. В контору Суйканена явились после работы все двадцать человек. В одинаковых комбинациях с застегками на плечах, в шляпах, в кепках, с инструментом в руках, американские рабочие сели на стулья и скамейки. Туамолу выбрали председателем. Суйканен начал. В прениях высказывались Хильтунен, Хурти, Кето, Туамола и другие. Все говорили: цех должен переселиться на самолет. Каждый вносил предложение, как лучше использовать американскую технику.

Год тому назад труд этих двадцати человек обогащал американских капиталистов. Полгода тому назад они ходили по Нью-Йорку — городу „желтого дьявола“ — и искали себе работу. Сегодня на Автострое они вынесли решение: закончить постройку деревообделочного цеха до срока.

На постройке не хватало бетонщиков. Суйканен вызвал руководителя ударной бригады арматурщиков — Сорокина. У того было тридцать молодых, прославившихся своим героизмом на весь автозавод. На деревообделочном сорокинцы кончили вязать арматуру и ушли на другие цеха.

Вожак бригады явился в контору Суйканена. Молодой, смуглый, с упрямым лицом, Сорокин был тепло встречен американцем:

— О, Сорокен...

Суйканен через переводчика передал ему следующее: наш цех стоит на позорном месте. Мы решили отстроить его до срока и быть впереди. Но у нас не хватает рабочей силы. Может быть, бригада Сорокина...

Сорокин понял, в чем дело, и сказал Суйканену всего два слова:

— Держи пять...

Началась борьба деревообделочного цеха за первое место на Автострое.

Американцы устроили блоки для непрерывной подачи те са на крышу. Втащили туда свою электрическую пилу, приспособили наверху место для отделки дерева и приступили к сооружению фонаря над крышей. Товарищ Кето встал у пилы. Стальной диск, то и дело врезываясь в дерево, визжал сиреной на всю окрестность. Из-под рубанка товарища Хильтунена летели кверху пружины стружек. Плотник, товарищ Виртунен, на пару с нашим сергачским плотником сидел верхом на стропилах фонаря и принимал деревянные брусья и обструганные доски. И какая была разница между этими двумя плотниками! Виртунен был в фетровой шляпе. Гладко выбритое лицо его сделалось от ветра коричневым и имело здоровый, красивый вид. Весь инструмент: пила, топорик, молоток, висел у него на петлях вокруг парусиновой комбинации. Он ловко охватывал подаваемый снизу деревянный брус и заносил один его конец к русскому плотнику. Свой конец американец быстро обравнивал, подгонял к кромке рамы и, готовый впустить в дерево гвозди, кричал своему визави:

— Ол райт!

Сергачский плотник понимал это слово «ол райт». Дескать все хорошо, все готово, можно приколачивать. Но у него не было готово.

— Погоди маленько...

Развесив на груди длинную, волнистую бороду, он посмотрел себе под ноги. Там внизу, на перекладине должен лежать топор. Топор свалился на крышу. Надо слезать за ним. Американец же торопил:

— О, тавай...

— Да вишь ты,—развел руками бородач,—топоришко-то мой упал.

Он слез за топором на крышу. Виртунен вслед ему громко восклицал:

— О, о...

Торопливо взобравшись опять на стропила, сергачский плотник вбил в косяк гвоздь и, пока американец заносил новый брусок, он сказал ему:

— С тобой, голова, работать-то ой, ой, ой...

Он заткнул топор за кушак и посмотрел на Виртунена: хорошо ли, мол, я сделал?

— О, о! — похвалил его американец.

Грузовые автомобили один за другим под'езжали к цеху и сливали из кузовов в деревянные резервуары бетон. Часть бригады Сорокина наполняла бетоном железные вагонетки и мотором поднимала их наверх. Другая часть развозила бетон в тачках по крыше. Третья часть по застывшему бетону разливала гудрон.

Рабочие—чуваши, татары, русские, американцы—работали днем и вечером. Суйканен появлялся на крыше, спускался вниз, обходил бетонщиков, плотников, чернорабочих, давал поручения десятникам и техникам, сам ходил на бетонный завод, когда подачу бетона задерживали; сам починял механизмы, когда они портились. У себя в конторе он склонялся над графиками работ, как командир над картой военных действий, и карандашом отмечал успехи борьбы.

К концу пятого дня штурма были закончены почти все работы: построены лестницы, возведен фонарь, залита бетоном вся арматура, прогудронена крыша. Но оставалась одна из больших работ—с'емка опалубки.

В пятый день, в восемь часов вечера, тридцать молодых из бригады Сорокина пришли снимать опалубку—снимать с цеха деревянные одежды. В дереве был весь длинный потолок и ряды больших граненых колонн. Ударники соорудили возвышение, стоя на котором человек мог доставать до потолка. На него взобрался с ломом сам Сорокин. Он начал отдирать обшивку вокруг колонны. Обшивка быстро отлетела. Но длинные доски так крепко пристали к бетону, что полчаса работы дали не больше тридцати тесин. Для всех становилось ясно, что с'емка опалубки продлится дня три.

Высокий американец Туамола стоял в стороне, никем не замеченный, и молча наблюдал за работой бригады. Он скрылся куда-то, потом вернулся с клубком толстой веревки на плече.

— Нет хорос, нет хорос,—закричал он Сорокину.⁸

Все остановились и оглянулись на Туамолу. Он подошел к возвышению и полез на него. Взял из рук Сорокина ломик, задрал им концы десяти-двенадцати досок, обвил их веревкой, а концы веревки сбросил на землю. Сорокинцы ухватились за них и потянули:

Потащим разок,
Подхватим разок,
Подернем разок,
Дернули...

Под напором коллективной силы, доски с треском оторвались от бетонного потолка и изгибаясь повисли одним концом к земле. Из теса получилась горбатая покатошь. Теперь предстояло решить задачу, как оторвать другой конец досок. Ударники смотрели на Туамолу и ждали, что он скажет. Но Туамола молчал. Сорокин мигом спустился на землю, взял за руки двух парней, и они втроем начали взбираться по тесу, как в гору. Под их тяжестью другой конец с грохотом рухнул. Ударники захлопали руками, Туамола сверху крикнул:

— Сорокен, ол райт...

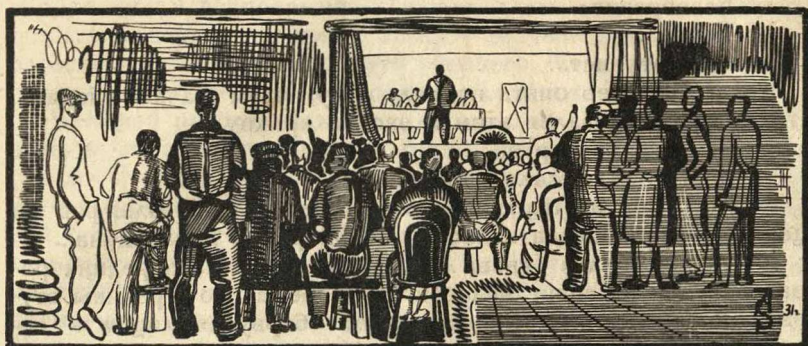
Точно сдирая кожу с животного, бригада раздевала цех. Вместо трех дней, он весь был обнажен в три часа.

За эту декаду план по деревообделочному цеху выполнен на 270%. Цех стоял отстроенным раньше срока на пять дней. Он летел на самолете. На его крыше билось красное знамя.

Американская техника в соединении с русской напористостью победила.

Суйканен, расставаясь с бригадой Сорокина, сказал:

— Я с ударниками навсегда останусь в этой стране.



Блейфер поднял брошенную из зала записку, исправил ее, прочитал. Он не поверил сразу тому, что там было написано, и это было заметно по его движениям, по его лицу. Он расстегнул полушубок. Резко сдвинул на затылок меховую шапку, оголил свой высокий лоб, подошел ближе к авансцене, выставил на полный свет уставшее лицо, прочитал смятую бумажку второй раз, третий, четвертый. Горько усмехнувшись, он спросил пониженным голосом:

— Кто же это написал?

Зрительный зал молчал, хотя был полон. Два партийных коллектива: один Нигрэса (организация, которая содержит Нижегородскую районную электростанцию) другой Нигрэстроя (организация, строящая станцию), проводили в зале объединенное собрание. Вот только что оба партколлектива приняли решение: собрать пятую турбину к 31 декабря, пустить котлы № 11—12 до третьего года пятилетки. Все подняли за это руки. Ни одного против, никто не воздержался. И теперь люди готовы были встать с мест и разойтись по домам. Но вот Блейфер, секретарь партколлектива Нигрэстроя, задерживал собрание. И что там у него за записка? Почему он качает головой?

Из зала закричали:

— Что там такое, Блейфер?

— Говори, не задерживай.

— Читай...

Блейфер поднял над головой записку.

— Слушайте, читаю: „Зря мы так постановили. Все равно не соберем пятую турбину в 30 году и котлы не пустим“.

И будто сильный ток пробежал по собранию и потряс его. Все с шумом повставали со своих мест и запротестовали. В гуле негодования выделялись сильные, громкие голоса:

- О-о...
- Безобразие...
- Позор...
- Оппортунист...

Когда Блейфер опять поднял руку, шум начал спадать. Кто-то воспользовался этим и звонко крикнул:

- Вон его из партии...
- Вон!—поддержало собрание.
- Кого вон из партии?— с усилием кричал Блейфер со сцены.— Не подписана записка. Лево́й рукой нацарапана...

И новая волна гнева прошла по залу: из передних рядов рванулся на сцену человек. Он добежал до середины ступенек полукруглой лестницы и круто обернулся лицом к собранию. Сорвал с себя шапку, протянул ее перед собой и укоряюще сказал:

- Что же это такое?

Голос его дрожал. Худое, бледное лицо подергивалось. Он обращался в зал, к сидящему где-то неизвестному автору записки и колол его:

- Ты что, ты кому служишь, нам или Кастиальскому? Ты не знаешь...

И монтажник Горошков повторял то, что было так хорошо знакомо всему собранию. Он говорил о перебоях в работе станции, о недостатке энергии. Нигрэс то и дело выключает Сормово, Канавино, Павлово, Дзержинск, Балахну. Нигрэс останавливает крупные заводы. Сил нехватает у Нигрэса. Что делать? Надо смонтировать как можно скорее пятую турбину, зачечь новые котлы. Прибавить Нигрэсу крови. Надо быстрее пустить третью очередь станции и приняться за четвертую. Без четвертой не тронется строящийся автозавод.

— Ты говоришь—в 30 году турбину не соберем, котлы не поставим, так ты говоришь?—настойчиво спрашивал Горошков неизвестного автора записки.—Ах ты, оппортунист на все сто процентов, двурушник!

Находившиеся в зале оглядывались назад, искали по рядам заядлого оппортуниста. Но сам он, очевидно, проделывал то же самое. Как его найдешь?

— Так нет же, чорт возьми, не будет по твоему—заканчивал Горошков.—В тридцатом поставим пятую турбину, в тридцатом зажжем котлы.

Чист, светел и просторен турбинный зал Нигрэса. Не видно здесь ни валов, ни колес, ни приводных ремней, ничего вертящегося. Четыре турбины, похожие на вагоны-цистерны, стоят вдоль зала одна за другой, прочно, спокойно. Жизнь турбин скрыта в системе изогнутых труб, рукавов, под черной

лаковой оболочкой. Звонящий, стонущий гул дрожит в зале напряженно и непрерывно. Тишина здесь так же опасна, как остановка сердца человека. Замрет звучное гудение — замрут промышленные районы вокруг Нижнего. Нигрэс — сердце. Оно должно быть крепким, как сердце большевика.

Блейфер рассказывал о вредителях. В большой турбинной зале, в высоком помещении котельной остались их грязные следы. Ступин, Иванов и Кастальский приложили руки к четырем турбинам и к десяти котлам. Постройку двух очередей станции они растянули на восемь лет. Вражья рука Кастальского пробиралась и к пятой турбине, туда, в каменный пристрой, служащий продолжением турбинного зала. Там, за временной тесовой переборкой, готовилась третья очередь Нигрэса.

— Туда мы его не пустили, — сказал Блейфер.

Блейфер стоял в узком проходе переборки, между светлым залом, где неутомно звучали турбины, и между постройкой третьей очереди — пыльным и дымным помещением.

— Мы сорвали маску с Кастальского.

На постройке третьей очереди стоял смрад, грохот, визг подъемного крана. Снизу по лестнице чернорабочие втаскивали деревянные брусья, песок, цемент, трубы. Среди этих труб, громыхающих одна о другую, работали паяльщики и сварщики, увеличивая чад и шум. Группа немецких и русских монтажников соорудала посреди помещения пятую турбину. Рядом стоял главный инженер, норвежец Ундерсен, в пальто с котиковым воротником и в котиковой шапке. Безбородое лицо его казалось свежим и гладким, хотя вблизи можно было рассмотреть, что оно соткано из мельчайших морщинок.

Когда рамзинец Кастальский разработал вредительский план сборки пятой турбины только к лету 31 года, т. е. в девять месяцев, Ундерсена спросили: в какой срок собирают такую турбину в Германии?

— Три месяца, — пожал плечами Ундерсен.

— А мы в три можем или нет?

Ундерсен повел опять плечами и по-русски сказал:

— Можем.

Дело началось с котлов. Главная работа — забить под них сваи. Забивали по три-четыре штуки в день. Дали приказ: забивать по десять. Но забивали попрежнему три-четыре. Секретарь партколлектива Трифонов, тот который был до Блейфера, струсил:

— Не под силу забивать по десяти сваи.

И верно не под силу. Ведь из четырех с половиной тысяч рабочих только 275 были ударниками. Как тут, одолеть десять свай?

Сменили Трифонова и все бюро. Поставили Блейфера. Блейфер собрал всех коммунистов и комсомольцев. Их было 500 человек. Им дан был наказ—повести за собой четыре тысячи беспартийных. В скором времени в ударных бригадах было уже две тысячи. И не десять свай, а тринадцать и четырнадцать стали забивать ударники.

Кто бы теперь осмелился выступить против темпов большевиков? Но нашлись люди, осмелились и выступили. Из светлого турбинного зала Нигрэса в грязное отделение третьей очереди полетели колкие, как иглы, словечки. Сначала показалось напуганное лицо заместителя председателя правления треста Нигрэс—Звуковникова. Он выступил на своем партийном собрании.

— Подумайте только—тринадцать свай в один день! В три месяца пятая турбина. Нет, там работают вредители.

Человек этот, с почтенным видом хозяйственника, с усиками, с волосами, подстриженными ежиком, старался видеть всюду вредительство. Долгое время под его носом вредили Иванов и Кастальский, он не замечал их настоящего лица, не был бдителен. Но теперь, наученный горьким опытом, он всегда стоял настороже. Забывали три свай в день, теперь тринадцать. Что это значит? Турбину прежде собирали год и больше, а теперь решили пятую турбину смонтировать в три месяца. Это что?

— Вредительство, не что иное,—настаивал Звуковников.

Бюро партколлектива Нигрэса прикрыло эту клевету молчанием. Сняли такое бюро, а Звуковникова выгнали из партии. Сам он, как говорится, умер, но дух его остался жить.

Когда новый секретарь партколлектива Нигрэса Мурташов проводил первое собрание, гнилой душок Звуковникова дал себя знать. Выступил председатель завкома Нигрэса Вязанов.

— А вдруг Звуковников прав, тогда что? Вдруг у строителей на самом деле вредительство, а?

Мурташов растерялся, замаял этот разговорчик. Сняли Мурташова и дали ему выговор.

Блейфер, вспоминая все это, тяжело вздохнул.

— Видишь ты, сколько рогаток на нашей дороге было...

Он вынул из кармана ту безымянную записку, которую читал на собрании, и тряхнул ею.

— Рогатки не все еще сломаны.

Н онец декабря. До 31 года осталось несколько дней. На третьей очереди идет битва за 1930 год. На сборке пятой турбины работают круглые сутки, в три смены. Там не хватает квалифицированной силы: монтажников, монтеров, слесарей. Растет угроза, что турбина в срок собрана не будет.

Не добытые оппортунисты станут глумиться. Неужели ихняя возьмет верх?

Монтер Горошков, тот, что горячо выступал на собрании за 30-й год, проработав восемь часов в первой смене, остался на вторую. Неожиданно на выручку пришли свежие силы. Монтер Воронин, выдвинутый недавно на должность заведующего отделом экономики труда, явился в рабочем костюме и встал на турбину. Слесарь Мезин, выдвигенец, заведующий отделом снабжения, ушел из кабинета на проводку паротруб. Председатель рабочкома Ключев отправился на сборку моторов. Каждый новый человек значил очень много. Инженер Переславский, руководивший сборкой, не отходил от турбины день и ночь. Откинув назад кепку, расстегнув пальто, он стоял и следил за каждым движением рабочих. Вид его был утомленный, глаза покраснелись, но голос звучал бодро. Он сказал Блейферу:

— Я ручаюсь, турбина будет готова.

Он подал Блейферу свернутый лист бумаги, как бы закрепляя свое обещание. Там была изложена просьба о приеме Переславского в партию.

Дело на третьей очереди двигалось как нельзя лучше. И вдруг новое препятствие: 27 декабря во время пробы вышел из строя насос № 16, установленный для питания новых котлов. Блейфер, инженер Переславский, председатель рабочкома Ключев отправились через светлый турбинный зал в котельную, к месту аварии насоса. Их встретил заведующий котельной Коршунов, человек с маленьким, круглым лицом, совершенно спокойным. Он был из тех работников Нигрэса, которые были против пуска новых котлов в тридцатом году.

— Испортили,— указывал Коршунов на насос.— Неопытность... Спешка...

— Когда отремонтируете?—спросил Переславский.

— Да уж если скоро надо, так через пять дней.

Все трое переглянулись. Блейфер сдвинул на затылок свою ушанку. Значит, новая котельная в тридцатом году не пойдет. Оппортунисты из Нигрэса будут довольны. Переславский подал головой знак, и все трое вышли из котельной.

— К чорту их!— рассердился Переславский.— Отремонтируем сами, через два дня...

Сейчас же была создана ударная бригада, и в одни сутки насос был исправлен.

Тридцать первое декабря. Решительный день. Сборка самой турбины уже кончилась. Она стоит на верхней площадке, одетая в железо, блестя лаком. Ниже ее, на другой площадке, где стоят конденсаторы, идет устройство выводов

от нового генератора. Отсюда через каменную стену по медным жилам потечет в Нижний свежая кровь. Тут же плотники в спешном порядке настилают временный пол. Чернорабочие убирают строительный мусор, работницы подчищают, подмывают полы. Еще ниже, в полуподвале, где установлены моторы, собирается распределительный пункт. Монтеры, облепив квадратный скелет, покрывают его листами железа, устанавливают распределительные доски, рубильники, выключатели. Там работает председатель рабочкома Клюев. Его трудно узнать. Глаза обведены черными кругами копоти, на щеках полосы грязи, губы кажутся подкрашенными. Он замечает наверху Блейфера и изо всей мочи кричит ему:

— Блейфер, мы кончаем!

Блейфера окружает шум, визг ползающего под'емного крана. Ему нехватает голоса, чтобы ответить Клеюеву. Блейфер кивает ему, машет рукой и отправляется в котельную. Это такое обширное и высокое помещение, что внутри его может встать пятиэтажный дом. Два котла с зигзагами труб, уже обмурованные, возвышаются до самого потолка. От каменных стен, от железа в котельной стоит холод. Но холод не трогает людей. Они разбирают леса, соединяют трубы, сваривают железо, кричат, торопятся, заканчивают последние работы.

Над крышей котельной, из красной трубы, еще огороженной лесами, идет первый дым. Котел № 11 разогрет. Котел № 12 разжигается. Когда по котельной начал шипеть и рассеиваться первый пар, рабочие остановились и встретили победу криками. Блейфер откинул назад шапку и улыбнулся.

Вечером празднование перенесли в новый клуб. Большой зрительный зал, наполненный рабочими, шумел. Над сценой протянулся свежий плакат: «Мы догнали Германию. Котлы № 11—12 смонтировали в 4 месяца, турбину № 5 собрали в 2 месяца 28 дней. Будем большевиками, догоним Америку».

Занавес раздвинулся. На сцене, за столом стоял председатель рабочкома Клюев, уже переодевшийся и умытый. Он говорил о победе, о будущем, о том, что значит пуск пятой турбины. Это 24 тысячи киловатт. На освещение и трамвай Нижнего, Канавина, Сормова расходуется 8 тысяч киловатт. Представьте себе, какая сила двадцать четыре тысячи!

На сцену выходили рабочие. Монтажник Цыганов об'явил, что он и двадцать человек его товарищей идут в партию. Слесарь Смекалов подал заявление в партию от четырнадцати человек, монтер Захаров от одиннадцати, комсомолец Вревкин от восемнадцати.

Старик Шененков выступил сам от себя. Коренастый, крепкий, хотя весь уже седой, он заявил:

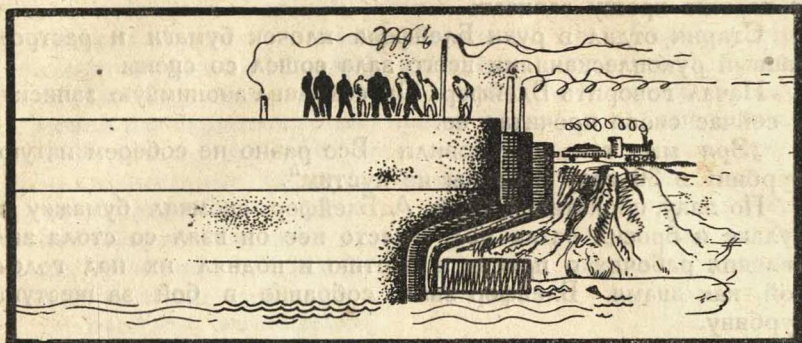
— Стаж мой рабочий сорок пять лет. В бога не верю.
В партию прошу записать.

Старик отдал в руки Блейфера клочек бумаги и растроганный рукоплесканиями всего зала сошел со сцены.

Начал говорить Блейфер. Он сохранил анонимную записку и сейчас снова прочитал ее.

„Зря мы так постановили. Все равно не соберем пятую турбину в 30 году и котлы не пустим“.

По залу прокатился смех. А Блейфер скомкал бумажку в кулаке и бросил ее на пол. Вместо нее он взял со стола заявления рабочих о приеме в партию и поднял их над головой, как знамя. Блейфер звал собрание в бой за шестую турбину.



Бригада Ефима Дерюгина шивала палубу морской шхуны. Работа шла вразброд, как игра неслаженного оркестра. Подросток Сенька подавал в отверстие палубы держальщику Орехову заклепки. Но Орехов отказывался их принимать. Выставив из круглой ямы бледное лицо неврастеника, он делал вид, что изнемогает от труда. Закрыв глаза и жадно глотая воздух, Орехов отрывисто воскликнул:

— Жарко... Не могу...

Сенька стоял перед Ореховым озадаченный. Он не знал — то ли Орехов притворяется, то ли в самом деле потерял силы. Защемленная в щипцах заклепка потухала на его глазах. Тогда он, присев на корточки, попробовал поднести ее к самому лицу Орехова.

— Бери что ли, Геннадий Иванович, — сказал он.

Но Орехов сразу переменялся в лице и так гаркнул на Сеньку, что тот отскочил в сторону.

— Сволочь! — истерично вскричал Орехов.

Клепальщик Андрей Долгунцов стоял на коленках в двух шагах от отверстия и сначала молча наблюдал за Ореховым. Теперь же, нахмутив густые брови и шевельнув усами, похожими на крылья птицы, он ударил по палубе молотком.

— Ты что, Енаха, озорничаешь, а? Ты будешь работать или нет?

Но Орехов повис локтями на стенках ямы и, свесив, как пьяный, голову на грудь, застонал капризным ребенком:

— Пить хочу...

Тогда Долгунцов пожаловался Дерюгину.

— Ефим, что же он делает, а? Тебе говорю, Дылда, не видишь, что Енаха делает?

Старший в бригаде, клепальщик Ефим Дерюгин, прозванный Дылдой, в самом деле ничего не видел. Он не слышал

ни криков Орехова, ни жалобы Долгунцова и вообще ничего не замечал, что творится у него в бригаде. Он стоял поодаль с молотком на плече и был занят совсем другими мыслями. Его полное, бритое лицо было встревожено неожиданным событием. На другом конце шхуны, высоко над кормой, повесили сейчас красный плакат:

«Море требует шхун!

Выпустим нашу шхуну раньше срока...

Создадим ударные бригады».

Дерюгин знал, что там, на корме, несколько дней работает ударная бригада коммуниста Степана Тарсаева. По этому случаю по шхуне носились тревожные слухи. Но Дерюгин до сегодняшнего дня не придавал им никакого значения. Вчера еще, за обедом, ему кто то сказал на счет ударных бригад:

— Дылда, слышал ты, соревнование начинается? Работать будешь, как чорт, а получать, как ангел.

— Не верю. Баловство,—отвечал Дерюгин.—Ничего у них не выйдет.

Но вот теперь, когда повесили красный плакат, Дерюгин почувствовал какое-то грозное предзнаменование. Главное, буквы встревожили Дерюгина. Они были такими большими и слова были такими яркими, что он подумал:

— Что же это такое начинается? Не сходить ли уж? Не разузнать ли?—Кончай, ребята,—сказал Дерюгин.—Закуривай. Скоро обед.

— Как закуривай?—возмутился Андрей Долгунцов, потрянув опять усами.—Какой тебе обед? Я до обеда полтинник заработаю...

— Кукиш ты теперь заработаешь,—прервал его Дерюгин.—Закуривай знай. А я вот сейчас пойду, да может быть, тебе трешницу принесу. Понял?

Преобразившийся Орехов пробкой вынырнул из-под палубы и, как ни в чем не бывало, запел:

— Кончай давай, кончай. Закуривай давай.

Дерюгин, сбросив на палубу молоток, пошел через шхуну по направлению к корме. Возмущенный Долгунцов, повеселевший Орехов и озадаченный Сенька смотрели ему вслед.

Дерюгин пробирался между зияющими отверстиями на палубе, перелезал через груды строительного материала, нагибался под перилами, шагал через машинные части, сложенные по пути. Кругом работали бригады клепальщиков. Звуки пневматической клепки превращались в сплошной рокот и были похожи на пуметную пальбу. Дерюгин шел, точно по месту жаркой битвы. Несколько раз он слышал выкрики рабочих, как бы предостерегающие от опасности.

— Эй, Дылда, куда? Дылда, стой!

Но Дерюгин отмахивался от всех такими жестами, которые говорили: оставьте, не до вас. Он приблизился к тому месту, где работала ударная бригада Степана Тарсаева.

Стараясь быть незамеченным, Дерюгин вором подкрался к бригаде и укрылся за ворохом железных обломков. Через большую щель он мог наблюдать за работой ударников.

Дерюгин видел, как подавальщица заклепок Лиза вздувала мерным покачиванием ноги ширманку. Громкое дыхание струй воздуха разжигало уголь, и в гудящем голубом огне, как ягоды на припеке солнца, зрели кустики заклепок. Лиза длинными щипцами срывала их одну за другой и, словно на стебле, подавала вниз, под палубу. Оттуда, как из глубокого колодца, поминутно высывались одетые в рукавицы руки держальщика Полотенцева. Он принимал от Лизы заклепку и скрывался с ней в темной глубине. Степан Тарсаев и старик Шестаков—два клепальщика—стояли на палубе на коленках. Как только снизу в просверленной дыре железа, показывался красный мизинец заклепки, Тарсаев схватывал его щипцами и держал, пока Полотенцев под палубой подлаживал под другой конец поддержку. Потом оба клепальщика били молотками по раскаленной заклепке так беспощадно, что после нескольких частых ударов она превращалась в вороненый ляпок.

Дерюгин, наблюдая за быстрыми, слаженными движениями бригады, спрашивал себя:

— Что же это они? Чего же им надо?

В промежутках между ударами молотков Дерюгин слышал грубый голос Тарсаева:

— Эй, Лиза, не зевай. Гляди на дело! Подавай!

— Ишь, гонит как, сукин сын,—подумал Дерюгин,—вздохнуть не дает.

Голос Тарсаева раздавался снова.

— Сережка,—кричал он под палубу Полотенцеву,—слышишь ты, чорт, заклепку уронил. Филя!

Над верфью стоял зной полуденного солнца. Железная площадка, где шла работа ударной бригады, была вся в солнечных лучах и дышала жаром, как раскаленная печь. У старика Шестакова были мокрыми плечи брезентовой куртки. По его лицу, в волосах серой бороды, как ручьи в частом лесу, бежали мутные струи пота. Лиза терпела страду больше всех. Сверху било ее солнце, снизу жгла палуба, в лицо бросался огонь горна. Полотенцев время от времени показывал из-под палубы свое лицо, цвета кожи новорожденного младенца, и жадно просил:

— Лиза, попить...

Костер железа, за которым присел Дерюгин, пылал жаром, точно зажженный. Обливаясь потом, Дерюгин чувствовал себя так, будто он вместе с ударной бригадой производит тяжелую работу. Тарсаев не дает ему ни отдыха, ни срока. И Дерюгин, чувствуя над собой угнетение, восклицает по адресу Тарсаева:

— Мучитель! Что ты делаешь, мучитель!

Разглядывая нагую спину Тарсаева, покрытую росой влаги, со знаком сабельного удара на правой лопатке, Дерюгин сожалел:

— Не добили тебя, нечистого духа! Оставили!

За площадкой, ближе к самой корме, в груде строительного мусора, Дерюгин заметил колышек с дощечкой, похожий на лопату, воткнутую в ворох зерна. На дощечке было написано:

«Первая ударная бригада тов. Тарсаева.

На 9 августа производительность повышена на 60%.

Добровольно снижены расценки на 30%».

— Так, так, так,—зашептал Дерюгин.— Вон оно что! Ты, значит, им повышай, а они тебе понижать будут? Верно значит: работать, как чорт, а получать, как ангел. Ах, сволочи, сволочи,—уже громко говорил Дерюгин.

А красный плакат снова блеснул перед его глазами и еще внушительнее и грознее кричал:

«Море требует шхун».

Дерюгину вдруг вспомнился недостроенный в деревне дом. Он спохватился, что на дом нехватало гвоздей и железа.

Дерюгин оглядел всю верфь, и она показалась ему такой точно он видел ее в первый раз. Впереди по длинному зато-ну караваном тянулись морские шхуны, речные баржи и пароходы. Над всей верфью, как над полосой боя, поднимался сизыми столбиками дым. Грохот и гул судостроения, бречанье цепей у под'емных кранов, визжание пил,—все это показалось Дерюгину новым и большим.

— Сколько же тут железа,—подумал Дерюгин,—сколько гвоздей? Куда же это все?

А красный плакат, повисший над головой Дерюгина, точно раскаленная балка железа, грозил раздавить его своею тяжестью и сжечь своим огнем:

«Море требует шхун».

Дерюгину стало страшно. Он представил себе, что все железо и все гвозди, сколько бы их ни было, все возьмет верфь. Дом его останется не покрытый и не обшитый тесом. Ужас выразился на лице Дерюгина. Он лишился железа, гвоздей, дома и искал спасения. Он инстинктивно схватился за первую железину, но ожог руку, взялся за другой обломок,

но тот качнулся и с'ехал на другую сторону палубы к ногам Степана Тарсаева.

Тогда Дерюгин очнулся и увидел, что шхуна стояла на своем месте. Быстро оправившись от волнения, он вышел из-за груды железа.

— Ударникам почтение, — с притворной улыбкой сказал Дерюгин.

— А, Дылда? Ты что? — спросил Тарсаев.

— Я? Я ничего... Я это... Да там курят мои ребята... А я это самое... ну, поглядеть пришел, как, мол, ударники работают...

— Ты вот что, Дылда, ты иди, скажи там у себя, что сегодня после обеда на шхуне собрание будет.

— Собрание? Это насчет чего?

— А вот будем вас вызывать на соревнование.

— Это кого же? И меня, что ли?

— И тебя. А ты что, не хочешь?

— Да я что, я сам-то ничего. Вот другие как... Пойду коли, пойду сейчас скажу...

Не чувствуя под ногами твердой почвы, он пошел обратно к своей бригаде, запинаясь за предметы, лежащие на пути. Удары молотков, сопровождавшие его, он ощущал так, как будто они сыпались на его плечи и спину. И с видом дезертира, трусливо бегущего с фронта опасного боя в тыл, Дерюгин на пути к месту своей работы заходил к другим бригадам и поспешно говорил:

— Бросай работу. Пойдем за мной.

Дерюгин собрал около своей бригады человек двадцать рабочих и объявил им:

— Братцы, несчастье...

Рабочие, одетые в брезентовые куртки, с инструментом в руках, окружили Дерюгина кольцом и ждали, что он скажет. Но Дерюгин, сообразив, что такое скопление рабочих до гудка на глазах у всех может вызвать неприятность, сказал:

— Давай, братцы, спускайся под палубу.

Рабочие, увлеченные намеками Дерюгина на какое-то несчастье, один за другим спустились через круглое отверстие в трюм. Там, внизу, люди разместились на стропилах и сцеплениях, как птицы. Был полумрак. Гвалт строительства доносился сверху глухо, сплошным гудением.

Дерюгин встал под отверстием в кругу света и осмотрел сидящих.

— Беда надвигается, слышали?

— Какая? — спросил кто-то сзади.

— Предали нас, — жалобно сказал Дерюгин.

— Кто?— вопрошал новый голос.

— Мелешь ты, Дылда, что-то,—присоединился опять новый голос.

Дерюгин, находясь под воздействием паники, сообщил собранию, что ударная бригада Тарсаева—это подлог. Тарсаеву заплатили большие деньги и велели смутить рабочих.

Дерюгин сам сегодня видел дощечку, на которой было показано повышение производительности труда и понижение расценок. А вот сегодня после обеда на шхуне собрание будет и всех рабочих переведут в ударники. Дерюгин закончил свою речь так:

— Как же, братцы, в кабалу-то пойдем: овечками, или быками мычать будем?

— Ты что-то врешь, Дылда,—сказал после небольшой паузы Андрей Долгунцов.

— Вру? Кто сказал, что я вру, Андрей?—А ты помнишь, что Дерюгин в прошедшем году говорил: в двадцать шестом году рабочему классу и крестьянству хорошо жилось, в двадцать седьмом похуже, в двадцать восьмом еще похуже, а в двадцать девятом, сказал я, плохо будет. Что, соврал я? Соврал, а? Молчишь? Погоди, в тридцатом будет не то. А в тридцать первом каюк будет...

— А пятилетку забыл?—оборвал Долгунцов.

— Помню,—выкрикнул Дерюгин,—хорошо помню.. Гвоздей на базаре не стало... пятилетка.. Хотя бы дело спрашивал что ли... Давай насчет соревнования говори...

— Что ж говорить,—произнес кто-то тоненьким голосом.—Требование предъявить надо.

— Вот это правильно,—поддержал Дерюгин,—Требование. Резолюцию от рабочих. Ну-ка, вот я сейчас бумагу достану,—оживился Дерюгин.—Енаша,—обратился он к Орехову,—пиши, давай, резолюцию.

Дерюгин уперся руками в колени и подставил свою спину Орехову. Вооружившись карандашом, Орехов разложил на горбу Дерюгина записную книжку и, хихикнув от удовольствия, приготовился писать...

— Суфлируй, Дылда, пишу.

— Пиши: Мы, рабочие... если нас... запишут в ударники... требуем... Написал? Во-первых требуем: норму не повышать. Согласны ли вы, чтобы норму не повышать?—поднял голову Дерюгин,—во-вторых: расценки не снижать. Возражения есть? Нету? Дальше пиши насчет продовольствия: муки белой выдавать по пуду на человека, да чтобы с семьей, которая в деревне...

— А где же столько муки-то возьмут?—спросил кто-то?

— Найдут. В двадцать шестом году была...

— Против я,—закричал вдруг Долгунцов,—против, чтобы на семью в деревне. В два горла жрать хочешь, да?

— Стой, стой,—выпрямился во весь рост Дерюгин.—Не кричи. По закону сделаем. Ну-ка, руки подними, кто на семью в деревне?.. Видишь, Андрей? А то считай... Пиши, Енаха, с семьей. Пиши дальше,—расхрабрился Дерюгин,—пиши: сахару по пять фунтов... Сахар тоже пиши с семьей... Ну, еще что записать? Гвоздей бы вот еще надо,—нерешительно заикнулся Дерюгин.

Но Долгунцов оборвал его грубой бранью.

— По корове всем запиши, гвоздей ему надо...

— Не ори, не ори. Ладно, Енаха, не записывай гвозди... Ну, братцы, говорить надо кому-нибудь одному. Выберем уполномоченного.

— Дылду,—сказало несколько голосов.

— Нет, товарищи, я спутаю. Да не умею я говорить. Вот у нас Долгунцов мастер. Ты, Андрей, как?

— Не стану я говорить,—сердито отвернулся Долгунцов,—сами говорите.

— Это ты что же,—укорил его Дерюгин,—в кусты, общественному делу помочь не хочешь? Ну коли, ладно, молчать будешь. А мы другого поищем. Ну-ка вот товарища Орехова попросим. Ты как, Енаша, скажешь?

Орехов опять хихикнул и как-то шутя сказал:

— Скажу...

— Вот и хорошо,—обрадовался Дерюгин.—Ну, теперь шабаш. Все помните: Орехов говорит, остальные в рот воды набрали. Вылезай. Пошли.

Все вылезли на свет. В эту минуту прорычал гудок на обед и погасил весь судостроительный гвалт. Верфь в несколько секунд замерла. Потом слышно было, как забросали на палубу инструменты, загремели чайники и кружки; за бортом раздался плеск воды от падающих тел купальщиков.

Дерюгин, получивший от собрания подкрепление, чувствовал себя бодрым и заранее был уверен в своей победе. Когда теперь перед его глазами опять мелькнул плакат: „море требует шхун“, то он усмехнулся:

— Требуй, требуй. Мы тоже сегодня потребуем.

Рабочие группами направились на корму обедать. Дерюгин задержал Орехова и сказал ему:

— Енаш, ты подожди. Ты давай-ка мне нашу-то резолюцию...

— Это зачем?

— Да, понимаешь ты, гвозди я хочу приписать. Нет на базаре гвоздей, а мне надо...

— Гвозди хочешь приписать? Не дам.

— Как это ты не дашь?

- Так вот и не дам. Поставь полбутылки, тогда дам.
- Да ты что, Енаха, а?
- Ничего. Баш на баш.
- Да ты что, дурак, в сурьез?
- А ты думал?
- Ну, черт с тобой, поставлю...
- Ставь сейчас.
- Потом, сейчас охмелеешь. Собрание, чай. Забыл?
- Ну да, забыл. Вот и хочу для храбрости.
- Сволочь ведь ты какая, Енаха. Карахтер у тебя какой, а?...

Видно, посылать надо.—Семка,—вскричал Дерюгин вслед уходящему подавальщику, Семка, поди сюда... На тебе деньги. Купи поди хлебного квасу... Стой!—Квас выпьешь, а с пустой бутылкой пойдешь к Берендеихе. Она тебе половинку вольет. Понимаешь? Ступай.

Не успел Сенька скрыться за бортом шхуны, как Орехов пустился подплясывать по палубе и напевать:

Хорошо тому живется,
Кто с молочницей живет...

— Карахтер у тебя, Енаха...

Дерюгин и Орехов не пошли обедать на корму, к месту общего сборища, а остались на месте работы.

— Ты, говорят, кулак?—спросил Орехов.

— Это какой же я такой кулак,—обиделся Дерюгин.—И кто же это тебе сказал? Хозяйство, правда, у меня хорошее. Ну, какое хорошее: две коровенки, лошаденка, жеребенчишка... ну, там свинья, телята... Да заводить-то, Енаха, больше нельзя. Налоги, понимаешь. Дом я, Енаха схлопал большой, пятистенный, пять окошек по лицу, теплые сени. Мезонин, понимаешь. Вот хочу железом крыть, а железа нет. Хочу тесом обшить, гвоздей нет. Связал меня дом, Енаха, покоя не вижу... А ты вот говоришь—кулак.. Не верь. Обманули тебя.

— Да я, ведь, тоже, Дылда, за политику сидел,—невинным тоном сказал Орехов.—Мастеру однажды в зубы дал за правду...

Когда Сенька принес водку в квасной бутылке, приятели расположились выпивать и закусывать. Дерюгин достал из сумки кусок телятины и буханку белого хлеба. Орехов схватился за водку. Первую чашку он выпил за здоровье Дерюгина, вторую за свое здоровье. Потом жадно принялся есть, точно был голоден целую неделю.

Вскоре зазвонили сбор на собрание.

— Ну, Енаша, —многозначительно произнес Дерюгин,—вставай!

Орехов поднялся с места и немного пошатнулся.

— Ты что это?— испугался Дерюгин.— Пьяный?

— Я? Нет. Я ничего.

— Ты гляди,— предупредил Дерюгин,— не подкачай.

— Я,— ободрился Орехов.— Я скажу. Вот ты увидишь, как я скажу. Выйду и скажу: товарищи...

— Да ладно ты, не ори здесь. Ты там скажи..

— Я скажу,— снова храбрился Орехов.— Вот ты увидишь, как я скажу...

Приятель отправился на собрание.

Орехов, покачиваясь, пошел по одному краю шхуны, а Дерюгин пошел по другому, делая вид, что он ничего общего с Ореховым не имеет.

На палубе открылось групповое собрание клепальщиков. Человек сорок рабочих разместились на чурбанчиках, на буграх железа и просто на палубе. Между рабочими и импровизированным столом президиума осталось некоторое незаполненное расстояние. Слово было предоставлено Степану Тарсаеву.

— Посуда нужна для нефти,— начал свой доклад Тарсаев,— а посуды нет. Кто же делает посуду? Мы делаем...

Тарсаев сообщил, что срок постройки шхуны кончается через двадцать дней. Если все будут работать, как первая ударная бригада, то шхуна выйдет в море в срок. Если работа пойдет по-старому, задержим шхуну.

— Нельзя задерживать,— возвысил голос Тарсаев.— Дорого задержка стоит. Миллион пудов нефти не вывезли из Баку... Да, черт возьми, заводы могут остановиться...

Дерюгин, стоя позади всех, слышал речь Тарсаева и про себя ехидно рассуждал: «валяй, валяй, старайся, мы тебе сейчас рожу умоем».

— Ложные слухи про нас разносят,— продолжал Тарсаев,— говорят: предатели мы, заработку снижаем. Кто это врет, а...

Тарсаев остановился. Рабочие переглянулись между собой, но промолчали. Отвернувшись в сторону, Дерюгин смотрел на небо и злобствовал: «вот, сволочь, все узнал».

Когда Тарсаев кончил доклад, Дерюгин приготовился сейчас же выпустить Орехова. Но удивительно, Орехов куда-то исчез. Дерюгин беспокойно просчитал глазами всех собравшихся и не нашел своего приятеля.

Наступило неловкое молчание. Тарсаев спросил, нет ли у кого вопросов. Не было вопросов. Не желает ли кто высказаться? Никто не желал высказаться. Кто то умышленно кашлянул, кто то крикнул. Потом безмолвие становилось все невыносимее. Наконец Андрей Долгунцов решительно встал с места и прямо в глаза рабочим почти закричал:

— Да что, Дылда-то нам рот всем заткнул что ли...

Дерюгин, как ужаленный, забегал по задворкам собрания, ища Орехова. Он нашел его за грудой металла, стоявшим в обнимку с железным остовом мачты.

— Е-на-ха!—бешено выговорил Дерюгин,—что ты со мной делаешь, Енаха?

— Чего?—мотнул головой Орехов.

— Погибли мы, сукин сын, предали нас...

Орехов на минуту отрезвился: еще раз мотнул головой, точно стряхнул с себя хмель, и погрозился:

— Я им сейчас задам...

— Иди, иди,—торопил его Дерюгин.

Орехов вышел к собранию и встал посередине между рабочими и президиумом.

— Слуш-шай меня, р-рабочий класс...

Все смотрели на Орехова и ждали, что с ним будет дальше.

Тарсаев подошел к нему и спросил:

— Что ты?

— Р-речь хочу говорить!

— Ты пьяный. Уйди отсюда. Не хулигань!

— Ты что?—схватил Орехов Тарсаева за грудь брезентовой куртки,—ты гонишь меня, ты уполномоченного гонишь?..

Тарсаев в свою очередь ухватился за полу куртки Орехова и попятил его в сторону от собрания.

— Ты что?—продолжал ерепениться Орехов,—ты мне, мне слова не даешь, А?—ты... На тебе, гад!—вскрикнул Орехов.

За взмахом руки раздался глухой удар. Тарсаев схватился за голову, пошатнулся и упал на палубу. Почти все бросились со своих мест и окружили Тарсаева. Двое рабочих схватили Орехова. Из правой руки у него выпала заклепка. Пока Лиза бегала в аптеку за йодом и бинтом, Полотенцев лил воду на голову Тарсаева.

Дерюгин обратился к собравшимся:

— Что же, братцы, расходись давай. Сейчас гудок...

Никто не расходился. Все наблюдали, как Лиза и старик Шестаков бинтовали голову Тарсаева. Все напряженно молчали и чувствовали себя так, словно они все были виновниками поступка Орехова.

Собрание было продолжено. На месте Тарсаева встал Полотенцев.

— А ну, давай высказывайся...

— Что ты, одурел,—упрекнул Полотенцева Дерюгин.—Тут, можно сказать, несчастье случилось, а он: „высказывайся“.

— И какая же ты, Дылда, сволочь,—сказал Дерюгину Долгунцов.—Сергея, запиши меня в ударную бригаду. Стой, четверых нас запиши: меня, Петрова, Севрюгина и Степанова.

— Меня запиши...

— Меня...

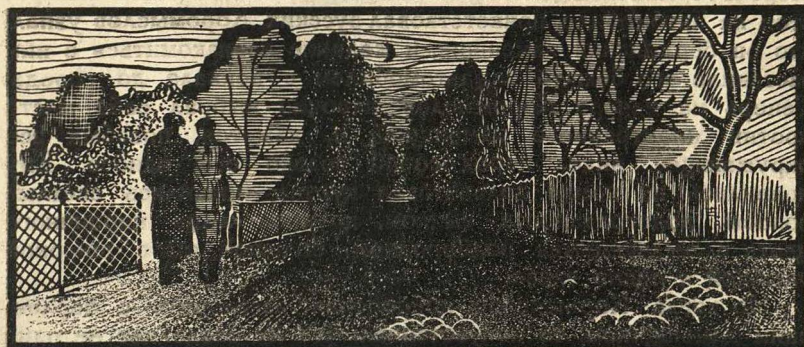
Голоса росли. Дерюгин стоял с видом проигравшегося картежника.

Через несколько минут на верфи взревел гудок. Полотенцев отправил на берег раненого бригадира, а сам возвратился на шхуну. Он наткнулся на Сеньку. Сенька осматривался кругом и не знал, куда ему теперь податься—Орехова увели, Долгунцов ушел с новой бригадой, а Дерюгин стоял столбом под плакатом.

— Сенька—сказал Полотенцев—к нам. Лиза, он за тебя, ты под палубу за меня, ну а мы с Шестаковым за Тарсаева, Тарсаев придет.

Поднялся грохот металла. А плакат, колеблемый ветром, кричал на всю верфь: „море требует шхун“.

М О Р Е Т Р Е Б У Е Т Ш Х У Н



Четыреста человек молодежи, опоясав каймой длинные ряды белых столов, окружили шестерых немцев, и зал Дворца труда, до белизны освещенный тремя люстрами, гудел, как мощный вентилятор. На фоне этого густого шума голосов выделялось брнчание посуды, разливалась песня, плавали звуки музыки, звенела речь германского комсомольца, и аплодисменты после нее сыпались так, как будто со всех столов летели тарелки, вдребезги разбиваясь одна об другую.

Лица молодежи, обласканные ярким светом и возбужденные музыкой, горели. В разных местах раздавались взрывы здорового смеха. За столами, где сидели иностранцы, происходило об'яснение между русскими и немцами. На лицах играло детское выражение любопытства. Весь зал кружился в звуках, в движениях и красках.

Русский каменщик Федор Коромыслов сидел за столом против берлинского каменщика Иоганна Штарка и угощал его так, как мать угощает сына после долгой разлуки. Он подвинул к нему тарелки с хлебом, забрал у соседей сыр и сложил его пирамидой на большом блюде, перенес с другого стола ветчину, приблизил вазы с печеньем и яблоками и все это уставил перед лицом Иоганна Штарка на подобие баррикады.

Иоганн Штарк, по мере того как перед ним возрастала гора закусок, все время менялся в лице. Он то благодарил Коромылова кивками головы и улыбкой, то смущался, то вопросительно поднимал глаза, то выражал удивление. Он было пытался отодвинуть от себя тарелки, но Коромыслов подвигал их снова, и лицо его говорило: „Полно, не стесняйся, будь, как дома“.

Коромыслов от того, что он нашел среди иностранцев товарища по профессии, считал себя счастливее всех. Еще при

встрече германской делегации на вокзале, когда Иоганн Штарк, стоя на автомобиле, приветствовал русских. Коромыслов узнал, что он берлинский каменщик, и желание познакомиться с ним заставило его бежать за автомобилем с вокзала до города. Теперь на вечеру Коромыслов нарочно выбрал себе место против иностранного каменщика и, кажется, позабыв все окружающее, видел перед собой только его одного. Ему нравилась на немце вельветовая куртка, нравились светлые волосы, подстриженные ежиком, крупное лицо кирпичного цвета с выдающимся подбородком, большой рот с широкой улыбкой и синие глаза.

Но когда Коромыслов попробовал заговорить с берлинским каменщиком, то почувствовал, что их разделяет не один стол, а какое-то нагромождение невидимых препятствий. Ощущать их было досадно и больно. Он знал по-немецки всего несколько слов: геносса, которое он услышал на вокзале, и узнал, что оно означает—товарищ, два ходячие слова—гут и швэйн и еще—рот фронт. Коромыслов об'яснялся с немцем с помощью русской речи. При этом русскую речь он старался изломать, как это делают при разговоре с китайцами, а немецкие слова выговаривал неправильно.

— Геноса!—кричал через стол Коромыслов, рассекая своим голосом шум окружающих звуков.—Слушай-ка, генос!

— Вас, вас?—откликнулся немец.

— Кушай. Мало, мало твой кушает. Ешь, я балакаю. Твой не понимай, а? Ну гляди, гляди на меня, геноса,—говорил русский каменщик, отправляя в рот кусок сыру.—Видел, геноса? Ешь по моему, ешь. Сыр это. Шибко гут сыр. Сыру не хочешь? Ну, ветчины покушай. Швайна это по вашему, понимаешь? Гут, хорошая швайна... Яблочко возьми. Это фрукта красная,—рот значит по-немецки.

Но Иоганн Штарк очевидно понял одно, что его угощали, и он благодарил:

— Данке зер.

— Что говоришь, геноса?

— Плахотару,—выговорил иностранец по-русски.

Коромыслов, обрадовавшись русскому слову, заговорил обычным языком.

— Ну, вот благодарю. Чай, не стоит. Ты ешь больше. У нас просто. У нас...

Но гром начавшейся музыки заглушил его слова.

Когда звуки оркестра растаяли в сплошном общем гудении зала, Коромыслов продолжал вести об'яснение.

— Геноса! Мой тоже каменщик. Каменщик я, понимаешь? На новой стройке мой работает. Каменщик...

— Хаменщик?—спросил Иоганн Штарк.

— Во, правильно. Каменщик. Понял, геноса?

— Их ферштээ нихт,—отвечал немец.

— Что ты говоришь, них?

— Нихт, понимаешь, нихт,—пожимал плечами Иоганн Штарк.

— Не понимаешь? Ну, как же ты не понимаешь? Каменщик я. Работаю на новой стройке... Эх ты, парень!—с сожалением сказал Коромыслов.—Ну, ты гляди, гляди на меня...

Русский каменщик взял с тарелки несколько кусков хлеба и начал складывать их один на другой, как кладут из кирпичей стену.

— Каменщик я, каменщик,—громко повторил Коромыслов, указывая себе на грудь и обращая на себя внимание окружающей молодежи.

— Дер штайнер!—воскликнул Иоганн Штарк.

— Каменщик, каменщик...

У берлинского каменщика заиграло лицо. Он встал, протянул через стол обе руки и жарко произнес:

— Хаменщик,—понимаешь.—Мейн камерад!

— Понял, геноса, понял!—воскликнул в ответ Коромыслов.— Ребята,—обратился он к окружающей молодежи, — ребята, узнал он, узнал... Мы с ним каменщики. Штайна по-немецки.

Это событие вызвало у сидевших рядом шум, звуки одобрения и рукоплескания. А каменщики с этого момента сделали друзьями и не расставались весь вечер.

В первом антракте музыка заиграла русскую.

Посредине залы образовался свободный круг. Все хлынули смотреть пляску. Немец пропустили вперед. Первыми прошлись девушка и парень, потом вышел Федор Коромыслов. Он топнул ногой, хлопнул руками о колени и пошел раздвигать самые разнообразные фигуры: прошелся по кругу, выбивал дробь, ухитрялся одновременно хлопать и в ладоши, и по голенищам, и по губам, кружился на одной ноге, вставал на четверенки и ногой очерчивал вокруг себя кольцо.

Немцы, увлеченные редким зрелищем, притоптывали в такт музыке, прихлопывали руками и издавали отрывистые восклицания. Когда Коромыслов отделявал присядку, Иоганн Штарк не выдержал и тоже пустился в пляс, подражая русскому каменщику. Но присядка у него не вышла. Он внезапно сделал крен и кувыркнулся на бок. Под общий гул голосов и аплодисменты, под дружный смех Коромыслов подхватил своего друга под мышку и унес с места соревнования.

Каменщики, утомившись в помещении, решили итти гулять на улицу и вышли из Дворца труда.

Прохладный ветер сухой осени сразу освежил их лица, и они пошли сначала по улице, потом свернули на старинный бульвар. Полночная пора уже согнала с улиц шум города и

скрыла все признаки жизни. Только их шаги, стучавшие о твердую землю бульвара, нарушали тишину да несколько фонарей тревожили мрак ночи.

Каменщики смотрели друг на друга, и темная сетка сумрака не мешала им чувствовать взаимную улыбку. Но беспомощность выразить эти чувства дружбы на словах мучила их.

— Как тебя зовут?— прервав молчание, спросил русский каменщик.

— Вас?—откликнулся Иоганн Штарк.

Коромыслов, не поняв, что „вас“ означает „что“, перебил его:

— Да не вас, не меня, я говорю, а тебя как зовут? Имя у тебя какое? Ты слушай, меня зовут Федором, Федор, понимаешь?

— Теодор?

— Ну, Теодор по вашему, все равно. А тебя как зовут?— показывал ему на грудь Коромыслов.

— Их хейсэ Иоганн.

— Иоганн? Вот хорошо. Иван значит, по-русски.

— Я, я, руссиш Иван.

— Ваня. Пойдем, Ваня, на Волгу?

— Ди Вольга? Вир гээн.

Они вышли на набережную и сели на железную решетку. Внизу, под откосом у пристани стоял пароход, полный огней в окнах. Огни отбрасывали на воду свои отражения и качались на тихих волнах, как в люльке. На другом берегу горели фонари, и лучи света от них кружились точно сверла, буравившие воду. Любуясь ими, Коромыслов стал рассказывать про Волгу, позабыв, что возле него стоит иностранец.

— Большущая, Ваня, река. Длинная. Течет и течет. Катит. И откуда только вода берется! Пароходы идут по Волге. Баржи плывут. То от Рыбинска, то от Астрахани. Кирпич везут на нашу постройку, лес везут, цемент, железо. Грузчики разгружают и поют:

Эх, дубинушка, ухнем!
Развеселая сама пойдет,
Идет, идет. Бери—пойдет.
Идет, идет, сама пойдет.
А вот и здесь...

Коромыслов обернулся на берлинского каменщика и увидел, что он стоит с раскрытым ртом и слушает.

— Да ты ведь, Ваня, не понимаешь, что я тебе говорю? Слушай, гут река. Река большой...

— Я, я. Дас ист дер гутэ флюс.

Коромыслов не знал, что „флюс“—река, продолжал доказывать немцу:

— Река, река, Ваня. Вода, значит. Много воды. Пароходы идут: у-гу-у... Пароходы, чувствуешь?

— Фархот?—повторил немец.

— Да нет, Ваня, не фархот, а пароход... Ну, как же тебе сказать... ну... пойдём коли отсюда, пойдём...

Они пошли вдоль набережной. Коромыслов был озлоблен на всю историю.— „Кто это разные языки выдумал и зачем?“ спрашивал он себя, но ответа на вопрос не находил. Ему пришлось в голову самому заговорить как-нибудь по иностранному. Он набрал несколько непонятных ему самому слов и высказал их.

— Геноса але домеша. Сара, мара, люк. Карас, хас, мул...
Понял, Ваня, чего, нет?

— Нейн, отвечал Иоганн Штарк.

— Ничего не понял? Плохо!—вздыхнул Коромыслов.

Они свернули в узенькую, с низкими потухшими домами улицу, похожую на реченку, обросшую кустами. Пройдя по ней два квартала, они вышли на большой пустырь и на середине его увидели черную громаду зданий.

— Как это, как это?—по-русски спросил берлинский каменщик.

— Это? Это наша постройка. Дома новые.

Иоганн Штарк потащил Коромыслова к постройке.

— Вир гээн, Теодор.

— Куда? на постройку? Пойдем.

Каменщики подошли к постройке и встали под фонарем, освещающим полосу лесов, деревянный накат и кусок земли.

— Тут я работаю,—показал Коромыслов,—тут каменщиком. Штайна, значит.

— Ду арбейтэст... хаменщик?

— Ага, дома строим.

— Как это, как это, томастрой?

— Дома, дома...

— Тома? ДIZE фабрик?

— Да нет, Ваня, не фабрика. Дома. Жить, дома, понимаешь?

Иоганн Штарк улыбался на свете фонаря и, быстромигая, смотрел в лицо русскому каменщику, и Коромыслов чувствовал, что он не понимает, но хочет понять, что они строят. В это время среди всеобщей тишины где-то близко раздался плач ребенка. У Коромыслова неожиданно родилась мысль. Он взял немца за руку и, как маленького, повел к окну старой избушки. Там, на желтом пятне света, они присели на корточки.

— Слышишь, Ваня?

— Дас кинд?

— Ребенок...

— Репенок, понимаешь.

— Плачет. Квартира не нравится. Мы ему новую квартиру строим. Дом строим, понимаешь?

Коромыслов поднял завалившийся под ногами кирпич, завернул в какую-то тряпку и взял его на руки, как ребенка. Лицо берлинского каменщика сразу сделалось широким от улыбки, глаза зашурились, и он как-то по-детски оживился.

— Дас кинд, дас кинд. Репенок...

— Туда его, Ваня, в новый дом.

Коромыслов крепко прижал к груди завернутый кирпич, сорвался с места и пустился к строящимся домам. Иоганн Штарк побежал следом за ним, но Коромыслов, оставив его у стены дома, сам с быстротой кошки взобрался по деревянному накату на второй этаж и оттуда закричал:

— Дома мыстроим, дома, понимаешь.

— Понимаешь, понимаешь, — громко отвечал снизу Иоганн Штарк.

Когда Коромыслов так же молниеносно спустился по зигзагообразной лестнице на землю, берлинский каменщик принял от него бутафорского ребенка и жарко заговорил:

— Понимаешь, понимаешь. Тома. Дас хаус. Дас ист гутэ хаус. Дас кинд верден ин дизем хаузе. Понимаешь...

Иоганн Штарк в эту минуту сам был точно ребенок, обрадованный подарком, и русский каменщик смотрел на него взглядом взрослого человека и по-отечески внушал ему:

— Ты, Ваня, пойми, сами строим. Себе. Ленин велел...

— О, Ленин!

— Ленин наказал: сами стройте, хозяева вы. Это мы хозяева, понимаешь — рабочий класс?

— Арбейтер классе, понимаешь...

— Стройте, сказал, социализм...

— Социализмус, понимаешь.

— Буржуев, говорит, прогнали. Валяйте, говорит, работайте. Чувствуешь ты, Ваня, прогнали мы капиталистов? Нет капиталистов. Нету. В Берлине капиталисты. У вас, в Берлине. В шею, Ваня, капиталистов, вот так, так! — показывал жестаи Коромыслов. — Под ноготь их, под ноготь.

— Нокоть?...

— Ага! Революцию надо...

— Я, я, революцион...

— Всем вместе, — рот фронт надо.

— О, рот фронт, — поднял здоровый кулак берлинский каменщик. Язык революции сближал каменщиков, и они продолжали говорить так горячо и громко, и с таким увлечением,

что сторож, должно быть, услышал их и, выйдя из ветхой избушки, прервал их объяснение:

— Кто это тут, чего надо?

— Мы. Я это, дядя Григорий, я—Федька. Другу вот из Берлина постройку показываю...

— Из какого Берлина?—посмотрел на Штарка сторож.

— Да из Германии, немец он, понимаешь?

— А, немец, ну, ну...

Сторож еще раз посмотрел на гостя и скрылся в своем домике. Коромыслов повел своего друга в гостиницу, где остановились делегаты. У под'езда при свете дежурного фонаря каменщики распрощались.

— Ну, Ваня, пока...

Немец остановил Коромылова:

— Варте мих...

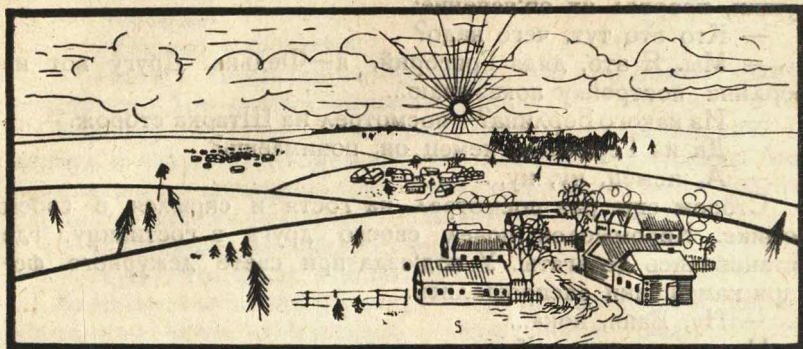
— Чего ты, Ваня?

Йоганн Штарк вынул блокнот и, написав на нем, оторвал листик.

— Адрес мой,—сказал он по-русски.

— Адрес? Ну, что же давай, пригодится. Увидимся, может, с тобой. В Берлине, может, увидимся, а?

— Ин Берлин, ин Берлин,—протянул руку берлинский каменщик.



З а Нижним, на правой стороне от Волги, по всему, Кстовскому району, тянется холмистое безлесье. На склоне одного из холмов пестрым стадом сгрудилось село Ново-Ликеево — родина колхоза „Гигант“.

„Гигант“ организовался в продолжение двух недель, а распался в три дня.

Дело происходило так.

В январе месяце группой приезжих и местных работников было поднято на ноги все население района. Организаторы ездили по селениям, собирали крестьян, рассказывали о хорошей жизни в колхозе, агитировали за вступление в «Гигант». На собраниях происходили жаркие споры, высказывались сомнения, но в конце концов принималась примерно такая резолюция: „приветствовать колхоз и вступить в него коллективно всем селением“.

Так было в одной деревне, в другой, в третьей. Так день за днем рос „Гигант“. Так „вступили“ в него целиком 18 селений. Но это был предел. На этой точке роста произошло самое высокое упоение успехами. Перед глазами организаторов мелькали лучшие результаты работ: коллективизировано 18 селений, $4\frac{1}{2}$ тысячи хозяйств, 15 тысяч едоков.—Гигант, гигант. И на вершине Новоликеевского холма представлялся этот „гигант“ в виде огромного круглого здания с колоннами.

Опьянение успехами скоро прошло. Наступило отрезвление. Организаторы вспомнили, какую работу позабыли они провести: устав принять позабыли, не обобществили рабочий скот, инвентарь, — не сделали самого главного.

В начале февраля приступили было к самой главной работе: попробовали подвести фундамент под дом, который уже выстроен. Но кулачье, чувствуя свою силу перед бумажным „гигантом“, сорвало начатое дело. Попы, сектантские проповед-

ники, монашки, проходимцы, сплетники, «обиженные» людишки,—весь кулацкий «актив» так быстро мобилизовался, что в один день во всех селениях, в проулках, в избах, закипели самые дикие сплетни, самое грубое вранье. Кумушки, старушки, приживалки «работали» среди крестьянок.

— Слышала, что в колхозе-то? Не слышала? Отбирают все,—обществляют по ихнему. Лошадей обществляют, коров обществляют, жен, милая, начали обществлять. Ты—если баба, для всех мужиков баба, мужик—для всех баб мужик... Ей богу правды, сама слышала,—Агафья из Подвалихи сказывала.

Церковные агитаторы, христоробивые «братцы», «сестрицы» в черном одеянии, ударили по своей части:

— Иконы у колхозников снимают, кресты снимают. Обряды запретили. Церкви закрывают, моленные отбирают. Праздники отменили: ни пасхи, ни рождества, ни воскресенья. Бесперерывка вводится, пятидневка...

В деревнях появились прохожие, странники, подозрительные люди. Один из таких был в Ново-Ликееве и рассказывал по домам вот что:

... Иду я деревнями и смотрю, что это много очень нищих. Поинтересовался, остановил одного. Лапти худые, одеженка рваная, сам посинел, дрожит. Спрашиваю: откуда будешь? Отвечает: из колхоза «Светлая жизнь».—Какая же, говорю, светлая жизнь, когда по миру ходите?

— Пойдешь, говорит: в колхозе хлеба по четверке дают.—И что же, оказывается, вышло постановление—паек в колхозах будет четверка...

Другой проходимец пугал семьи отходников.

— Слышали про отходников? Не слышали? Интересно про отходников... Еду я в поезде, против меня сидит мужчина, Вид угрюмый, задумчивый. Разговорились мы. Едет он домой, в деревню, из города. На фабрике работал—уволнили. Ни за что, ни про что, так. Стоит, работает, подходит старший:—в колхозе состоишь?—Состою.—Поезжай работать в колхоз. Приговор такой получили: кто в колхозе—заработка нет.

Гвоздем сплетен были 17 спичек. Самые обыкновенные 17 спичек. Досужие люди ходили по избам, раскладывали спички и предсказывали страхи и ужасы.

Послушайте, что получается из 17 спичек. Прежде всего, они суть 17 год. Раскладывайте их, и у вас получается полностью «1917». Спутайте и собирайте снова,—выходит «1930» год. Опять смешайте, еще раскладывайте,—смотрите, у вас образуется пятиконечная звезда. Правда, серп и молот выходят только в виде знака умножения. Но ничего: думайте, что это серп и молот. Дальше составляется слово «Ленин», складывается грозное слово «колхоз» и самое страшное выходит:

это число зверя из Апокалипсиса «666». Опять-таки у одной из цифр нижняя часть имеет не четырехугольную, а только трехугольную форму, но ведь это тоже не важно. Главное вот что: 1917, 1930, Ленин, колхоз, 666. А что это означает? Разве не сбывается священное писание? Разве не пришел антихрист? Разве не скоро второе пришествие? Не ходите в колхоз. Спасайтесь. Терпите. Помните, что сказано: претерпевший до конца—спасется.

Результаты сплетен не замедлились. Однажды в штаб колхоза пришли двое десятилетних ребят,—девочка в лаптях и мальчик в отцовых валенках.

— Начальник колхозу здесь?—спросила девочка.

Новый председатель колхоза, Еремин, оторвался от работы и хотел было выпроводить ребят за дверь, но, когда увидел в руках девочки пачку бумаг, остановился.

— Что тебе? Чья ты?

— Студенецка. Прощения принесли.

Еремин взял заявления.

Рука писала одна. Слова во всех заявлениях одни и те же: «Так как мы не намерены состоять в колхозе, то просим отсюда нас выписать».

— Расписку велели взять,—сказал мальчик, выступив впереди девочки.

— Расписку, кто велел?

— Мужики.

— А кто прощения писал?

— Тоже мужики...

— А кто вас послал?

— Мужики.

— А кто так говорить научил?

— Дядя Матвей,—поторопилась ответить девочка.

Но мальчик ткнул ее в бок.

— Не ври. Папа совсем и не учил...

Девочка спохватилась, что выдала тайну, покраснела и с плачем сказала:

— Мужики научили.

Еремин, отпустив ребят домой, разыскал списки студенецких крестьян. Имя „Матвей“ нашлось среди кулаков.

В продолжение трех дней заявления о выходе из колхоза таскали из всех 18 селений. И что ни деревня, то свой почерк, свое содержание.

Вот Сосновка: „Я слышал, что будут отбирать скот и все мое имущество, а я все сам наживал и жалко мне со всем расставаться, и просим исключить“.

Несколько заявлений из Толстобина: „Если сбудется все это, да если от меня все отберут, то я лишусь своей жизни“.

Ряд заявлений из Лукерьи: „Мы не хотим семейных раздоров, какие будут в колхозе Гигане, и просим в ем нас не считать“.

Груда заявлений из Безводного, с красивым почерком писца. „Выхожу из колхоза потому, что там собрались одни пьяницы, растратчики, лодыри и все нечестивые люди“.

Есть краткие и оригинальные заявления: „Выхожу по болезни“. Или: „Выхожу ввиду преклонных лет“. Еще: „Выходим ввиду нашего несознательства“.

Ворох заявлений из Ново-Ликеева, из Подвалихи, из Вишенок: „Мы слышали, какое гонение будет на веру, а также предполагается бесперывка, то поэтому мы из колхоза выходим“.

Теперь, через два месяца, перекладывая эти груды бумаг, Еремин говорит:

— Сколько тут кулацкой „работы“ положено, страсть.

— Что же с «Гигантом»?

— Что?—лопнул. Из 18 селений удержалось 9, от 4¹/₂ тысяч хозяйств осталось 600.

„Гиганта“ не стало. Но существует просто колхоз, с центром в Ново-Ликееве.

Вокруг него в девяти деревнях находятся девять производственных участков. Пойдемте хотя бы на Ново-ликеевский участок, он рядом; посмотрим, как он живет.

На конце села обрыв. Внизу вереница крохотных, почерневших бань. За ними луг. Дальше, на берегу спокойной реки Кудьмы большой, огороженный пряслами участок земли, со строениями на первом плане. Это Ново-ликеевский колхоз.

Как входишь во двор, так сразу чувствуется необычная для старой деревни обстановка. Длинным рядом стоят 25 распряженных телег, в таком же порядке 30 железных борон, 24 плуга, 6 рядовых сеялок. Над крыльцом старого дома прибита самодельная вывеска—„контора“.

Где-нибудь во дворе, или в конторе вы встретите старшего бригадира, Алексея Григорьевича Пупыкина. Он распределяет рабочую силу, отряжает на разные работы лошадей, пишет наряды, ведомости, сведения, сидит над календарным планом—проверяет, что сегодня сделано, что нет. Он привык к цифрам, и очень многое знает на память. Нужен вам состав колхоза,—он вам даст полную картину о хозяйствах всего села.

Вот она, картина:

	Всего на селе	Состоят в колхозе	Вне колхоза
Бедняков	98	69	29
Середняков	215	39	176
Батраков	3	2	1
Кулаков	9	—	9
	325	110	215

— Да я теперь со счету стал сбиваться,— говорит Алексей Григорьевич.

— А что?

— Новые вступают. Плывут каждый день и плывут. Пашня сагитировала. До пашни боялись: думали—разругаемся, разойдемся. А вот нет, ну и идут.

Верно—колхоз растет с каждым днем. Стоит побыть немного в конторе, чтобы в этом убедиться. Вот пришел с заявлением батрак Садков—уже старик, с мрачным, серьезным видом.

— Желая быть у вас рабом...

— Нам рабов не надо,—отвечают колхозники.

— Да я же всю жизнь был рабом, как же не надо? Ну, если не рабом, то работником.

— В равноправные примем, дедушка, в равноправные.

— Да, чай, у меня ни в доме, ни в закроме, ни на дворе,—куда же в равноправные?

Пришел бедняк Борисов. Этот заявления подавал несколько раз. То взойдет, то выйдет.

— Что, опять пришел?—спрашивают его.

— Опять.

— Крепко ли теперь?

— Теперь крепко. Баба, слышь, упрямылась. Сейчас обошлась.

После долгого раздумья, середняк Тюлин привел в колхоз сытую лошадь, привез телегу, плуг, борону.

— Принимайте, решил.

Несмотря на „пасхальную неделю“, в колхозе пашня в разгаре. На поле опять новая, не виданная доселе картина. Ни меж, ни загонов, ни полос—одна сплошная карта колхозной земли. Края этой карты обрезаются сразу на 15 лошадей.

Плуги выворачивают нутро земли. Земля перекрашивается из желтого цвета в бурый. Квадратный массив сокращается и сокращается. Пашут дружно, молча. Слышишь одно глубокое дыхание лошадей и выкрикивание одного слова:

— Ближе, ближе.

Час работы и минут десять отдых.

Я спросил одного из пахарей, лучше ли коллективно работать. Он долго искал подходящего ответа, потом сказал:

— Известно, один в поле не воин.

Во дворе колхоза взрывается 5 га заброшенной земли. Это тоже новое, до сих пор не виданное в деревне—коллективный огород.

— Отличные овощи урождаются,—говорит Алексей Григорьевич.—Земля—золото, место низкое, вода рядом.

Гордостью колхозников считается общественный скотный двор. С виду он неказист: сделан наскоро из старого теса. Но когдаходишь в ворота, сердце радуется: 30 колхозных лошадей стоят в отдельных стойлах. В каждом стойле кормушка для сена и кормушка для овса. Четверо стариков-колхозников несут службу конюхов. В определенное время дается корм, вода. Ежедневно происходит чистка всех лошадей.

В первое время, когда лошади только что были поставлены на общий двор, многие колхозники беспокоились. Утром придут, вечером придут, и все спрашивают про свою лошадь: кормлена ли, поена ли, не закатилась ли? Пойдут к стойлу, из горсти сенца дадут, погладят, вздохнут. Но скоро лошади стали дюжее, глаже, чище, чем на своих дворах. И ходить перестали,—надежно. Конюхи теперь говорят:

— Не узнают хозяева своих лошадей, шабаш.

Большую заботу проявляют колхозники о лошадях. Как-то вечером, после работы, у одной лошади был обнаружен опой: разнесло живот точно у жеребой, появились признаки недомогания и она слегла. Вокруг собрались человек двадцать колхозников. Кто-то взволнованно и резко стал говорить:

— Кто ездил на ней?—Выгнать такого из колхоза. Если падет,—что на селе скажут,—в колхозе лошадей изводят?

Быстро организовали помощь: сбегали к ветеринару, сделали укол; двое колхозников принялись растирать живот лошади.

— Водки бы, водки, кровь разогнать.

Напоили водкой, посадили верхом парня, прогнали по лугу и опасность миновала.

— Видишь, сынок,—говорит мне старик-конюх—видишь, как лошадей жалеет? В новой жизни лошади.

— А вам новая жизнь нравится?

— К старой ворочаться не будем. Ты вот что говори: помолодиться бы, вот бы, лет на тридцать бы. А дело у нас славное, что говорить.

Кулаки после развала колхоза „Гиганта“ успокоились. Но когда в Ново-Ликееве, несмотря ни на что, продолжал жить колхоз, когда из него выросло „славное дело“, кулачество со своими прислужниками снова затревожилось. Неумолимый закон самосохранения вел их к борьбе со своим врагом—колхозом. Они понимали, как теперь нужно вести эту борьбу. Вчера они разваливали „Гигант“ одним оружием: подпольной агитацией, сплетнями, запугиванием. Сегодня это оружие притупилось. Надо оттачивать его, надо изобретать новое. Кулаки отточили старое, испытанное—религию, в придачу ей использовали хулиганство, и решили нанести колхозу смертельный удар из-за угла. Время для разгрома избрали подходящее—канун пашни, когда часть колхозников колебалась, часть была настроена против колхоза.

Дело происходило так:

В середине апреля в Ново-Ликеево явился из соседней деревни Старо-Ликеево известный в округе хулиган и пьяница Костька Ярыпалов. Своим буйным видом он вызвал многих на улицу.

— Где тут колхоз?—кричал Костька во все горло.

Окруженный зеваками и сплетниками, Ярыпалов шумно ворвался в правление объединенного колхоза и, безобразно бранясь, заорал:

— Кто тут председатель колхоза?

Председателя не было. Был заместитель тов. Постников. Не успел он спросить у Ярыпалова, в чем дело, как в помещение вкатилась новая толпа людей. Впереди две женщины вели под-руки слепую старуху-лишенку Щипанову. Она зевала во весь голос:—Нечистые духи, антихристы! Людей куда ведете, нехристи? Чужое добро отбираете, насильники!

Вслед за старухой, с новой группой людей, явились члены колхоза—братья Межениновы: Василий—быв. дьячек, и Иван. Иван занял место старухи и грозно закричал в лицо Постникову:

— Отдай наших лошадей!

Костька Ярыпалов, на минуту притихший, забуйствовал опять.

— Отдай лошадей!—повторил он вслед за Иваном Межениновым.

Ярыпалов сорвался с места, растолкал толпу и выбежал на улицу по направлению к церкви. Через минуту с колокольни послышался набат. Из окон видно было бегущих людей.

Старуха Щипанова восторженно зашептала:

— Слышишь голос господень, слышишь, что?..

— Отдашь ты лошадей?—напирала на Постникова братья Межениновы.

И когда получили твердый ответ, что никаких лошадей не получают, они повернулись к выходу, а Иван Меженинов угрозил:

— Помни, Постников, да не забудь.

Через некоторое время вбежал запыхавшийся конюх с производственного участка. Он еле выговаривал слова:

— Товарищ товарищ Постников . . . лошадей . . . лошадей уводят.

Постников пробрался через возбужденную толпу и сломя голову побегал на скотный двор. Невдалеке от забора он увидел группу людей, в воротах встретил колхозника с орясиной на плече, на самом дворе было человек десять колхозников.

— Что?..

— Ничего,—отвечали Постникову,—только двух увели—братья Межениновы. Других отстояли.

На другое утро в колхозе вместо ста сорока хозяйств стало сто десять. Тридцать вышли. Но колхоз разгромить не удалось.

Классовый враг пробует теперь надевать маску мира. Вот, например, кулак Андрей Кондратьев сделался ярим агитатором за колхозы. Выслушивая сомнения середняков, он заявляет:

— Колхоз—дело верное, чего там.

Еще недавно Андрей Кондратьев торговал лошадьми,—был крупным барышником, участником всех конных базаров в Нижнем и в своей округе. На селе про него говорят кратко, но выразительно:

— Вор. Плут. Мошенник. В его руках любая лошадь пляшет, а в других—на ногах не стоит. Он задумает кого по миру пустить—пустит. Задумает пожалеть—пожалует.

Однажды агенты уголовного розыска застали его на месте кражи. Взяли его, повезли, но он вырвался. Однажды на него напали свои же люди—бандиты. Хотели убить его, но не убили, а только прострелили щеки. С крестьянами он проделывал такие операции: купит у кого-нибудь лошадь, обещая заменить ее лучшей, но всучит такую, что оказывается хуже той, что была. Берет обратно, дает другую, третью, вплоть до такой, которая собирается околевать. Выкачает у крестьянина все деньги, а потом предлагает вдвое дороже купить его же прежнюю лошадь.

На воровстве и плутовстве Андрей Кондратьев нажил огромный капитал. Поставил два дома—один другого лучше.

За неуплату налога у него конфисковали дома и скот. Но он, как говорится, ни в едином глазе: весел, беззаботен. Его спрашивают: жаль ему добра или нет?

— Нет,—отвечает он.—Советская власть знает, что делает, она умнее меня. Была во мне нужда,—она давала наживать мне деньги. Нужды не стало,—все обратно взяла. Все по праву. Власть мне услужила, а я ей. Если бы я домов не построил, где бы больница помещалась?

Так говорит Андрей Кондратьев, но не так чувствует. Раз поздно вечером в больнице (его бывший дом) загорелся огонек—врач пришел за медикаментами для больного. Вдруг является в старое гнездо Андрей Кондратьев. Вид мрачный, голос скорбный.

— Печи-то не топите,—сгноите дом-то. Пол-то поцарапали. Переборку-то сломали, ай, ай...

Обошел он комнаты, потрогал всюду руками—крепко ли все, вздохнул и удалился.

Но, когда нужно, Андрей Кондратьев бывает другой.

Красивое, смуглое лицо, обросшее цыганской бородой, умные и хитрые глаза, спокойный и уверенный голос—все эти качества Андрея Кондратьева могут обмануть свежего человека. С таким видом он явился в колхоз.

— Примите. Без обману говорю, честно,—первым колхозником буду. К вам все пойдут за мной. Меня знают. Я работник. Дело поставим—загремим.

Такой бывает умный классовый враг.

Два друга старой жизни и два врага жизни новой—водка и религия, держат в своих лапах многих колхозников. У мужчин водка, у женщин религия.

Пьют не только рядовые колхозники, пьют руководители. Тот же старший бригадир—Алексей Григорьевич Пупыкин—он пьет и не скрывает этого. Спросите его, почему он не вступает в партию, ответ один: пью.

— Не пить не можешь?

— Не могу. Невозможно не пить. Всю жизнь пью, с малых лет. В батраках пил, в грузчиках пил, в каменщиках пил, продавцом работал—тоже пил и в крестьянстве пью.

Он прошел, как говорят, огни и воды и медные трубы, и всюду неизменным спутником была водка. С нею он пришел и в колхоз.

Веруют в Ново-Ликееве на разные лады: там православная церковь, старообрядцы, евангелисты, спас-соглас, местная, межениновская вера. У православных церковь сейчас «не работает»—попа нет, так женщины посылают делегацию в сельсовет и в правление колхоза: выпишите нам попа. Старооб-

ряды добровольно отдали свою моленную под новую больницу, а теперь просят вернуть ее.

Антирелигиозной работы никто никогда на селе не вел. И вообще культурная работа на задворках. Семь человек школьных работников, два агронома как культурная сила используются плохо. Комсомол совсем забыл этот участок. Изба-читальня в беспризорном состоянии. Получаются газеты, журналы, но все они складываются в кучу, и никто их не читает. Большая библиотека в 8 тыс. экземпляров представляет из себя склад хлама: книги разбиты, в грязи, в пыли, много изъеденных мышами; пахнет гнилью и плесенью.

Библиотека состоит из литературы 1917—18 годов издания, из дореволюционной кооперативной литературы, из книг по профдвижению, есть классики. Нет ни одной книги издания последних пяти лет.

На руки читателям попадают такие экземпляры, которые давно должны быть выброшены из библиотеки. Вот: Великие люди мира—фараоны, Александры, Карлы, Константины. Книги по русской истории—Рожкова, Катаева, Андреева, Шишко; все они с царями и царицами. Раскол русской церкви—Князькова. Книга заканчивается призывом к объединению всех вер: „Да будет едино стадо и един пастырь“. Другая книга Князькова—о крепостном праве. Там восхваляется царский манифест и последними словами манифеста заканчивается книга: „Осени себя крестным знамением, православный народ“... Вот брошюры Медынского, Займовского, Португалова об учредительном собрании, о тайном голосовании, о российских соединенных штатах (желательный строй государства Российского). Среди беллетристики есть книги английской писательницы Шрейнер. Это мистические рассказы, где участвуют Долг, Любовь, Жизнь, Слава, Богатство, ангелы, бог.

Вот на каких книгах „просвещаются“ читатели. Мудрено ли после этого, что религия оказалась в руках кулаков самым боевым оружием в борьбе против колхозов.

Религия мешает многим женщинам вступать на порог новой жизни. Вот например активная колхозница—беднячка Настасья Фонарева подала заявление в партию, а потом взяла его обратно. Я попросил ее объяснить, почему она колеблется.

— Из-за религии. Не молюсь я и в церковь не хожу, а думается: кто-то есть. Крещенская вода меня с толку сбила. Поставила две бутылки—одну свяченную, другую не свяченную. Не свяченная протухла, а свяченная стоит.

— А ты „свяченную“—то воду где наливала?

— На реке.

— А несвяченную?

— Из кадки.

— А какая бутылка была чище—под „свяченную“?

— Чай знаю. А ты что меня пытаешь?

Я объяснил ей, отчего „не свяченная“ вода скорее протухла, и Настасья Фонарева задумалась. Дня через три она сообщила новость: крест с шеи сняла, заявление в партию думает возвратить.

Во всем у Настасьи Фонаревой чувствуется переплетение старого с новым: она ворчала на сына, зачем тот записался в комсомол, а затем, когда сын хотел поступить не по-комсомольски—она стыдила его. Сын приехал однажды с поля расстроенный:

— Вот так ничего, вот так колхоз! Рубль положили. Целый день боронил, а мне рубль...

— Бороньба,—ребячья работа, по таксе рубль полагается.

— Да, по таксе. Не поеду завтра боронить, пусть сами боронят.

— Сынок, сынок, ты комсомол, можно ли так-то—подумай.

Даже в речи Настасьи Фонаревой и то есть новое. Она употребляет очень много местных слов: „в реденьком дому“, „в другом дому“, „значится“—вместо значит, „что не то“ вместо что-нибудь, „насколь“, „ты слышь“, „ты знашь“. Но в то же время часто говорит так: „Он кальеру себе пробивает“, „в обчём масштабе“, „наши женщины абсолютно отстали“.

Я спросил ее, как она понимает слово: абсолютно, Настасья Фонарева ответила: совсем, значит.

Смешение старого с новым заметно на всех колхозницах.

Правление колхоза поручило мне провести с женщинами беседу о религии. В избе-читальне собралось их человек полтора. Пока я объяснял, как люди благодаря своему бессилию в борьбе с природой стали веровать и веруют в сверхъестественные силы, слушали спокойно. Но стоило сказать несколько слов о служении религии богатым классам, кулакам, поднялся неописуемый шум. Точно стоячая вода в пруде, покрытая густым слоем тины, вдруг взволновалась и заплескалась.

— Не трожь религию. Слушать не хотим.

— Уйдем.

— Про природу говори.

Одна из женщин вышла вперед и, вскидывая руки, загорячилась:

— Мы советку власть уважам, за колхозы мы горой, а бога ты у нас не трогай. Бабы, пошли домой!

Однако никто не уходил. Шумели и слушали. Беседа продолжалась четыре часа. Было задано до пятидесяти разнообразных вопросов: отчего бывает ветер, дождь, гром, откуда

появился человек, кого считать кулаком, кто такой папа римский, что такое пятилетка, будут ли в колхозе общие жены, когда не будет товарных затруднений, что такое социализм, будет ли война и пр. Жажда знаний равносильна жажде пить в страдную пору.

На колхозной почве появляются ростки нового быта: открылась амбулатория, организуется родильный дом, создаются на 180 человек детей ясли и детская площадка. Все это стало возможно только с рождением колхоза.

Новое чувствуется в помощи при несчастии. Недавно у колхозника середняка Ивана Тюлина сгорел дом. На общем собрании колхозников ставится вопрос о поддержке погорельца. Председатель колхоза Степан Мордвинов предлагает отчислить полдневный заработок. Собрание против полдневного.

— Чего там полдневный, —дневной.

— Кто за дневной?

Все. Вынесли решение—обсеменить за счет колхоза всю долю земли Ивана Тюлина. Сверх всего пустили добровольный подписной лист. Пупыкин походил с ним минут десять и собрал около ста рублей.

Иван Тюлин до того был взволнован этими событиями, что на его глазах появились слезы.

— Если бы не в колхозе, что бы тогда....

— Ничего, Иван Никитич,—ободряют его колхозники,—один за всех, все за одного.

Новое и проведение праздника—Первое мая. Раньше в этот день организованно выходили на улицу школьники и комсомольцы. Нынче демонстрация была на удивление всему селу. Взрослые колхозники—мужчины и женщины—все поголовно встали в ряды. Детей посадили на телеги—их повезли разукрашенные лошади. Колонна в тысячу человек прошла по Ново-Ликееву с гармониями и песнями. Такого зрелища до колхоза не было.

А разве нет нового в укреплении связи города с новой деревней?—Есть. Над Ново-ликеевским колхозом шефствует рабочком строительных рабочих Нижегородского комстроя. На отчисления рабочих рабочком купил колхозу 4 плуга, две сеялки, пару лошадей. На Первое мая прислал в Ново-Ликеево рабочую делегацию. В этом может быть ничего особенного нет. Новое в другом. Вот оно, это новое:

2 мая колхозники выехали на пашню. В поле отправились и двое рабочих строителей—водопроводчик Петров и каменщик Макеев. Кто из городских людей бывал на полевых работах, тот знает, как плохо себя чувствуешь, когда праздно стоишь сложа руки, наблюдая за тяжелым физическим трудом. В глазах крестьянина увидишь тогда огонек недружелюбности,

отчужденности Прочтешь мысли: „ишь пришли, нечего делать-то“. Но Петров и Makeев плохо себя не чувствовали. Они пришли запросто, сказали одному пахарю, другому:—ну-ка сядь, отдохни, а мы попашем. И надо было видеть теплые, наполненные влагой глаза колхозников, для того чтобы сказать, как много значила для них эта маленькая помощь рабочих. Это начало нового вида смычки, нового сближения города с колхозной деревней.

В о всяком большом деле есть передовые люди. Они, однажды убедившись в правоте своего дела, отдают ему все: свои силы, способности, свою жизнь. Такие люди есть в Ново-Ликееве. Такой человек Алексей Михайлович Кондратьев. Ему пятьдесят лет. До революции он был грузчиком на Волге. Он так хорошо насмотрелся на неравенство людей, что во время революции, придя в деревню, первый встал на защиту советской власти. Он был председателем сельсовета, председателем вика. Он первым пришел в колхоз и сделался примерным колхозником. Он не любит много говорить, но скажет убедительно и ясно. Поднимет высоко седую голову и скажет: — Стойте крепче за новую линию. Другой линии нет.

На демонстрации, на собрании, в разговоре, всегда слышен его громкий голос: „другой линии нет“.

Федор Иванович Сорвин. Этому пятьдесят первый год. Коренной крестьянин-середняк, первый вступил в колхоз. У него длинная, светлая, как сноп соломы, борода. Но лицо еще молодое, свежее. Под пушистыми усами у него постоянно трепещется улыбка. За глубокую религиозность его прозвали на селе «святым». Он самоучка, писать может только печатными буквами. Перед началом открытого партийного собрания он подходит ко мне.

— Милок, напиши мне заявление.

— Куда?

— В партию хочу.

Я достал лист бумаги и приготовился писать.

— Пиши: „Я, стало быть, Федор Сорвин, середняк-колхозник, вижу, что партия ведет крестьян к хорошей жизни, почему желаю в партии работать, и прошу принять“.

— Все?

— Чай все, чего еще то?

Он тут же нашел поручителей, и тут же разобрали его заявление.

На-утро по селу только и было разговоров: „Слышали: „святой“ в партию записался, что это с ним?“

Популярным колхозником слывет на селе член рабочей тройки Ново-ликеевского колхоза Михаил Федорович Кон-

дятьев. Он заработал себе эту популярность яркими примерами. Он был до фанатизма религиозным человеком, и порвал с религией. Его жена осталась крепко-верующей и не терпит в нем безбожника. Однажды она пришла в колхоз с заявлением и потребовала выписать семью Кондратьевых из колхоза. Муж взял заявление и разорвал. Жена угрожала:

— Не выйдешь из колхоза,—разведусь.

— Ну, что же, разведемся.

Накануне „пасхи“ в Ново-Ликееве было факельное шествие молодежи. Во главе карнавала был Михаил Кондратьев.

У колхоза не было материала на постройку скотного двора. Нужно было сломать тесовый двор конфискованного дома у кулака Андрея Кондратьева—брата Михаила. Колхозники пришли ко двору с топорами и встали. Они смотрели на Михаила Кондратьева и думали: будет он жалеть брата или нет? Но Михаил Кондратьев спокойно сказал:

— Что встали—разбирайте.

Двор сломали. Вместе с двором сломались и родственные чувства середняка к кулаку.

В Ново-Ликееве, в об'единенном правлении колхозов всего района работает „двадцатипятипятитысячник“—рабочий с Черно-реченского химзавода т. Постников. Интересно видеть рабочего от станка в деревенской обстановке. Не с зубилом, не с молотком имеет дело человек, а с овсом, с викой, с центнерами, с гектарами, с лошадьми, с фуражем. Коренное переклечение из одной области труда в другую.

Иван Постников переключился очень быстро. За два с половиной месяца работы отвык от завода и с головой ушел в колхозную жизнь. Его в деревне все интересует: женские собрания, библиотека, больница, школа, комсомольская ячейка. И везде перед ним один главный вопрос: кто, как помогает колхозу.

За простое обхождение его прозвали на селе—душа-парень. Всем нравится его длинное, скуластое, рабочее лицо, улыбка до ушей, грубый и приятный голос. Он может со всеми ругаться и со всеми ладить. Как-то из студенческого производственного участка пришел руководитель и потребовал сверх нормы фуражного овса. Постников предложил ему поискать овес у себя на месте. Тогда парень из Студенца заявил:

— Ну, что ж, овса не даешь, колхоз развалится.

— Что, что, колхоз развалится? Ты мне угрожаешь, что колхоз развалится? Да ты что?...

— Ничего.

— Да ты пойми, чорт полосатый, колхоз никак не может развалиться. Это ты разваливаешься.

Парень из Студенца был обижен. Но вот на лице Постникова расплылась улыбка и обида прошла.

— Экой ведь ты дурак, — уже по-дружески говорил Постников.

Можно себе только воображать, в каких иногда нечеловеческих условиях приходится работать руководителям колхоза. Бывший секретарь Борского райкома партии, а теперь руководитель об'единенного колхоза девяти селений Василий Иванович Еремин, работает через край человеческой силы. На протяжении трех месяцев работы в деревне он ни одного дня не отдыхал. Были такие случаи, когда в одни сутки нужно было выезжать в четыре-пять селений и говорить по 12-15 часов. Выдавалось время, когда по трое суток приходилось не спать, по неделе не раздеваться. В результате у Еремина туберкулез.

Теперь он свалился. Лежит у себя в комнате с температурой 39,4. Его лицо, искаленное оспой, побуревшее от ветра, пылает. Скулы обострились, как лезвие топора. У постели сидит врач. Комната полна посетителей. Врач пробует выпроводить всех.

— Уходите, уходите, беспокоить его нельзя.

Посетители в один голос запротестовали:

— Как это нельзя, раз надо?

— Я за пять верст шел.

— У нас пашня может сорваться.

Еремин делает усилие и приподнимается на подушке. Отстраняет врача и начинает заниматься сметами, деньгами, расценками, семенами. Кто пришел из колхозов других селений, тех спрашивает:

— Настроение у вас как? Сколько запахали?

Ему отвечают. Он наказывает:

— Пашите скорей да сейте. Опоздаете.

Видишь эту картину и думаешь: кажется, никакая болезнь теперь неспособна надорвать новую, кипучую жизнь деревни.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	СТР.
ОГОЛОВOK	5
ПЕРЕХОДНИКОВЦЫ	26
КОММУНА СОРОКИНА	37
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ	44
НАШЕ СЕРДЦЕ	51
МОРЕ ТРЕБУЕТ ШХУН	58
ДВА КАМЕНЩИКА	69
НА МЕСТЕ „ГИГАНТА“	76

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

No.	Title
1	ALPHABET
2	ARITHMETIC
3	GEOMETRY
4	ALGEBRA
5	TRIGONOMETRY
6	CALCULUS
7	PHYSICS
8	CHEMISTRY
9	HISTORY
10	LITERATURE
11	LAW
12	MEDICINE
13	MATHS

